



Казимир Феликсович Валишевский Екатерина Великая. (Роман императрицы)

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172358
Роман императрицы: Терра – книжный Клуб; Москва; 2003
ISBN 5-275-00864-3*

Аннотация

Историческое сочинение «Роман императрицы» польско-французского историка Казимира Валишевского на сегодняшний день является одним из наиболее увлекательных описаний жизни императрицы Екатерины Великой и истории России во времена ее правления. Текст произведения представлен в новой редакции и в современной орфографии.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
КНИГА ПЕРВАЯ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	30
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	49
Глава 1	49
Глава 2	67
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Казимир Валишевский

Роман императрицы (Екатерина Великая)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемом вниманию читателей романе вымысел полностью отсутствует. Даже легендарные элементы занимают в нем лишь строго отведенное место, в котором нельзя им отказать при желании вызвать к жизни точную картину прошлого. Мы полагаем, однако, что как любопытство читателя, так и его интерес к приключениям будут удовлетворены.

Вторая половина восемнадцатого века, мрачная и бурная как вечер, насыщенный грозой, была озарена ослепительным видением. Далеко в снегах таинственного Севера занимался свет, подобно восходящей звезде. Над повергнутыми в прах старинными европейскими монархиями возносился трон с византийскими очертаниями, окруженный небывалым величием, и по ступеням его всходила женщина в красном сиянии, цвета пурпура или крови. Она царствовала, сосредоточив вокруг себя все величие, все счастье и все торжество, а со всех концов Европы поднимался гул удивления и восторга, смешивавшийся с раскатами разразившейся вскоре бури. Поэты воспевали «северную Семирамиду», философы утверждали, что «свет идет с севера», а изумленная толпа восторженно рукоплескала. Победоносная за границами своей империи, Екатерина внушала и внутри ее сперва уважение, затем и любовь к себе. В ней воплощались неосознанные еще гений и сила огромного народа; славянская раса неожиданно пышно в ней расцвела и внезапно устремилась гигантскими шагами по пути к величавому своему уделу.

Однако история нам указывает, что эта обаятельная государыня, эта женщина, пред которой преклонялись все державы цивилизованного мира, эта «матушка-царица», коленопреклоненно, как икона, чтимая миллионами крестьян, была маленькой немецкой принцессой, попавшей в Россию благодаря случайности. Горстка смелых молодых людей возвела ее на место, откуда она, казалось, диктовала законы всему.

Это необычайное происшествие не раз уже рассказано, и не одна рука пыталась начертать образ необыкновенной женщины, игравшей в нем главную роль. Этим попыткам недоставало лишь одного, — того, что не в силах заменить собою и талант писателя: твердой документальной основы. За неимением этой опорной точки, дело воссоздания, двадцать раз начатое, двадцать же раз обрушивалось в пустоту и граничило с басней. Час истории в то время еще не настал. Он пробил только теперь. В России и отчасти в Германии историческое прошлое великой славянской империи стало предметом изучения; под эгидой более либерального режима было в первый раз дозволено исследователям подняться до первоисточников. Государственные архивы распахнули свои двери, и частные лица, следуя примеру, данному сверху, поддержали усилия науки, предав гласности тайны своих хранилищ. Таким образом увидели свет столь драгоценные архивы князей Воронцовых. Вследствие естественного порыва, помянутые исследования коснулись главным образом личности Екатерины и великой эпохи, отмеченной ее именем. Результаты почти не оставляют желать ничего лучшего. Более пятидесяти томов сборника, издаваемого Императорским Русским Историческим Обществом, имеют к ней прямое отношение. В различных других коллективных изданиях Екатерина все же занимает первенствующее место.

Все эти элементы научного анализа, отныне столь обильные, требуют синтеза. Он и был уже предпринят в России. Тонкий писатель, В. А. Бильбасов, издал первый том труда,

который, к сожалению, ему пришлось прервать. Екатерина, может быть, еще долго будет ожидать своего историка в стране, обязанной ей самыми славными страницами своей истории. Приступив к предлагаемому труду, появившемуся сначала во Франции, мы не намереваемся предвосхитить задачу, которая, мы надеемся, когда-нибудь будет приведена в исполнение в России. Мы попытались закрепить на этих страницах некоторые общие черты, которые в лице, подобном Екатерине, несомненно, заинтересуют образованное общество всех стран. Женщина, принимавшая участие во всех великих событиях своей эпохи, имевшая сношения со всеми выдающимися людьми своего времени, долго переписывавшаяся с Вольтером и бывшая в дружеском общении с Дидро, прожившая, наконец, с точки зрения умственной, нравственной и даже чувственной, жизнь редкую по полноте, разнообразию и богатству ощущений, подобная женщина не может нигде встретить равнодушного к себе отношения.

Это еще не все. Эта женщина – *русская* государыня, с которой современная Россия, столь жадно изучаемая в настоящее время и все же столь загадочная, находится в прямой непосредственной связи. Действительно, Екатерина по приезде в свое новое отечество сумела с изумительной гибкостью примениться к новой среде, в которой ей приходилось отныне жить; но, в свою очередь, Екатерина и на среду эту произвела взаимное действие; она во многих отношениях вылепила ее по своему образцу и наложила на нее неизгладимую печать своей могучей личности. Чтобы проникнуть в тайну великой политической и социальной организации, огромную тяжесть которой уже начинает чувствовать Европа, следует прежде всего обратиться к Екатерине; современная Россия в большей своей части является лишь наследием великой государыни; к ней же следует обращаться для проникновения в тайны некоторых русских душ: в каждой из них кроется нечто, свойственное Екатерине Великой.

Материалы, которыми мы пользовались, почти недоступны большой европейской публике. Доступ к ним загражден не только малоизвестностью языка, но и разбросанностью их по разным сборникам, названия которых даже неизвестны. Мы дополнили их личными изысканиями в различных архивах, в особенности в столь богатых во всех отношениях архивах Министерства иностранных дел во Франции.

Что касается духа, одушевляющего наш труд, я надеюсь, что всем станет ясно, что мы решительно ступали перед собранными нами свидетельствами, заботясь лишь о проверке их подлинности и степени их значения. Нам сдается, что настал час, когда голос их может быть всюду услышан и должен быть терпим. Через год пройдет уж целое столетие над могилой Екатерины. На этом расстоянии и на вершине, на которую потомство поставило ее память, история может делать свое дело, не причиняя ни обиды, ни вреда кому бы то ни было. Что бы она ни сделала, она лишь прибавит один барельеф к памятнику, воздвигнутому восторгом и благодарностью великого народа одному из предметов величайшей своей славы. Вольтер, пожалуй, пошел слишком далеко, утверждая, что «у потомства никогда не будет недоразумений с его императрицей». Но он мог с полным правом предполагать, что чувство уважения будет вечно лежать в основе тех законных поправок, которые историческая критика сочтет своим долгом внести в иллюзии, ошибки и увлечения далекого прошлого.

КНИГА ПЕРВАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОТ ШТЕТТИНА ДО МОСКВЫ

Глава 1 Немецкая колыбель. Детство

I

Лет пятнадцать тому назад маленький уголок старинного немецкого городка был охвачен волнением: предполагалось выстроить в этой местности железную дорогу, которая по обыкновению нарушала укоренившиеся привычки, разрушала старые дома и уничтожала сады, где гуляло несколько поколений подряд. Среди предметов, которым угрожало бессердечие инженеров, возбуждавшее отчаяние местных жителей, была липа весьма почтенного вида; она, казалось, была предметом специального культа и особенно жгучих сожалений. Все-таки железная дорога была проведена. Липу не срубили, но ее вырыли из уголка земли, где она пустила корни, и пересадили в другое место. С целью оказания ей большего почета ее посадили против нового вокзала. Она оказалась равнодушной к подобной чести и засохла. Из нее сделали два стола: один из них преподнесли королеве прусской Елизавете, а другой – русской императрице Александре Федоровне. Жители Штеттина называли эту липу «императорской» (Kaiserlinde); если верить их словам, она была посажена немецкой принцессой, называвшейся тогда Софией Ангальт-Цербстской, а в просторечии Фигхен (Figchen). Принцесса охотно играла на большой городской площади с резвившимися здесь детьми; впоследствии же, – они хорошенько и не знали, как это случилось, – она превратилась в императрицу Всероссийскую под именем Екатерины Великой.

Екатерина действительно провела часть своего детства в этом старом померанском городке. Увидела ли она в нем также свет? Редко случалось, чтобы место рождения великих людей современной истории вызывало те же споры, что возникли в прежние времена вокруг колыбели Гомера. Следовательно, происшедшее в этой области относительно Екатерины является одной из особенностей ее судьбы. Ни в одной приходской книге в Штеттине не сохранилось и следа ее имени. Тот же факт повторился и с принцессой Вюртембергской, супругой Павла I, но ему можно подыскать объяснение; ребенка, вероятно, окрестил священнослужитель лютеранской церкви, ректор или президент, не причисленный к приходу. Однако нашлась одна заметка, казавшаяся подлинной и основательной и указывавшая на Дорнбург как на место рождения и крещения Екатерины, и весьма серьезные историки приводили эти данные в связи с самыми странными предположениями. Дорнбург был родовой резиденцией дома Ангальт-Цербст-Дорнбург – именно семьи Екатерины. Не жила ли там ее мать некоторое время около 1729 г. и не приходилось ли ей часто встречаться с молодым принцем, которому едва исполнилось 16 лет и который недалеко отсюда вел угрюмую жизнь в обществе своего мрачного отца? Немецкий историк Зугенгейм не побоялся указать на этого

молодого принца, известного впоследствии под именем Фридриха Великого, как на «отца инкогнито Екатерины».

Письмо принца Христиана-Августа Ангальт-Цербстского, официального отца Екатерины, по-видимому, лишает это смелое предположение всякого правдоподобия. Оно помечено 2-м мая 1729 г., написано в Штеттине, и принц объявляет в нем, что в тот же день, в два с половиной часа ночи у него родилась дочь в *этом городе*. Эта дочь не может быть иная, чем та, о которой идет речь. Христиан-Август не мог не знать, где родятся его дети, хотя, может быть, он и не был достаточно осведомлен о том, каким образом они появлялись на свет. Существуют еще и другие доводы. Ничем не доказано, что Дорнбург принимал в своих стенах мать Екатерины незадолго до рождения последней; скорее даже вполне достоверно доказано обратное. Принцесса Цербстская, оказывается, провела часть 1728 года очень далеко и от Дорнбурга и от Штеттина, а именно, в Париже. Как известно, Фридрих никогда не был в Париже. Он даже чуть не поплатился головой за одно желание его посетить, как недавно рассказал историк Лависс со свойственным ему тонким талантом.

Но воображение историков, даже немецких, неиссякаемо. За отсутствием Фридриха, в 1728 г. в русском посольстве в Париже находился молодой человек, незаконный сын знатной семьи, несомненно посещавший принцессу Ангальт-Цербстскую. Следовательно, мы опять попали на след другого романа и другого предполагаемого отца. Этот молодой человек именовался Бецким и стал впоследствии знатным вельможей. Он умер в Петербурге в очень преклонном возрасте; говорят, что, посещая этого старца, которого она окружала заботами и нежным попечением, Екатерина наклонялась над его креслами и целовала его руку. Этого оказалось достаточно для того, чтобы немецкий переводчик «Воспоминаний» Массона пришел к убеждению, которое мы, однако, не можем разделить. Таким образом, пожалуй, не окажется во всей истории восемнадцатого века ни одного знатного рождения, которое не давало бы пищи аналогичным предположениям.

Мы не станем их дальше оспаривать. Женщина, носившая впоследствии имя Екатерины Великой, по-видимому, родилась в Штеттине, и ее родители по закону и, насколько нам известно, по природе были: принц Христиан-Август Цербст-Дорнбург и принцесса Иоанна-Елизавета Гольштинская, его законная супруга. Наступило время, как мы увидим, когда малейшее деяние этого ребенка, столь скромно вступившего в жизнь, было отмечено самыми достоверными числами, и жизнь его прослежена день за днем, почти час за часом. Это послужило ей отмщением и вместе с тем мерилom пути, пройденного ее лучезарной судьбой.

Но что представляло в 1729 г. рождение маленькой принцессы Цербстской? Княжеская семья этого имени – одна из тех, которыми Германия кишела в то время, – являлась ветвью Ангальтского дома, насчитывавшая их восемь. До того времени, как неожиданное счастье озарило его небывалым сиянием, ни одно из разветвлений этого корня не потревожило эхо славы. Вскоре окончательное пресечение всего рода подрезало эти зачатки известности. Не имев истории до 1729 г., Ангальт-Цербстский дом перестал существовать в 1793 г.

II

Родители Екатерины не жили в Дорнбурге. Заботы направили их в другое место. Отец ее должен был зарабатывать свой хлеб (он родился в 1690 г.) и принужден был поступить на службу в прусскую армию. Он воевал с Нидерландами, с Италией, с Померанией, со Швецией и Францией. Тридцати одного года он заслужил эполеты генерал-майора; тридцати семи лет он женился на принцессе Иоанне-Елизавете Гольштейн-Готторпской, младшей сестре того самого принца Карла, который чуть было не сел на российский престол рядом с Елизаветой и в лице которого она вечно оплакивала обожаемого жениха. В этом

заклучалось какое-то предопределение. Христиан-Август, назначенный командиром пехотного Ангальт-Цербстского полка, должен был отправиться в Штеттин, чтобы принять над ним командование. То была настоящая гарнизонная жизнь.

Христиан-Август был образцовым супругом и отцом. Он очень любил своих детей. Но, ожидая сына, он был сильно разочарован, когда родилась Екатерина. Первые годы детства Екатерины были этим омрачены. Когда принялись заниматься этим периодом ее жизни, – а заинтересовались им впоследствии страстно, – воспоминания свидетелей его значительно потускнели. Сама она неохотно их освежала, отвечая с непривычной ей скрытностью на предлагаемые ей по этому поводу вопросы. «Я не вижу тут ничего интересного», писала она Гримму, самому смелому ее вопрошателю. Впрочем, и ее воспоминания не отличались точностью. «Я родилась, – говорила она, – в доме Грейфенгейма, на Mariekirchenhof». Однако в Штеттине нет и никогда не было дома этого имени. Командир 8 пехотного полка жил на Dom-Strasse, в доме № 791, принадлежавшем председателю коммерческого суда в Штеттине, фон Ашерлебену. Квартал, где находилась эта улица, назывался Грейфенгаген (Greifenhagen). Дом переменил и номер и владельца. Он принадлежит теперь советнику Дэвицу и помечен № 1-м. На одной выбеленной стене замечается черное пятно, являющееся единственным следом, оставленным пребыванием великой императрицы, – то следы дыма от жаровни, зажженной 2 мая 1729 г. около колыбели Екатерины. Сама колыбель исчезла. Она находится в Веймаре.

Названная при крещении Софией-Августой-Фредерикой, в честь трех ее теток, Екатерина для всех была просто *Figchen* или *Fichchen*, как писала ее мать, – по-видимому, уменьшительное от слова *Sophiechen*. Вскоре после ее рождения родители ее переселились в штеттинский замок, заняв левое его крыло, находившееся возле церкви. Фигхен были отведены три комнаты; из них одна – ее спальня – была рядом с колокольной. Таким образом ей представилась возможность подготовить свой слух к оглушительному трезвону православных церквей. Может быть, само Провидение это устроило! Там она росла и воспитывалась, весьма просто. Штеттинские улицы действительно были свидетельницами ее игр с детьми местной буржуазии, ни один из которых, несомненно, и не думал величать ее по титулу. Когда матери этих детей посещали замок, Фигхен выходила им навстречу и почтительно целовала полу их платья. Таково было желание ее матери, имевшей иногда мудрые мысли. Это, впрочем, случалось с ней нечасто.

Однако у Фигхен было много учителей, кроме особой приставленной к ней гувернантки, – конечно, француженки. В то время в каждом более или менее значительном немецком доме были французские гувернеры и гувернантки. Это явление было одним из косвенных следствий отмены Нантского эдикта. Они преподавали французский язык, французские изысканные манеры и любезности. Они учили тому, что сами знали, а большинство кроме этого ничего и не знало. Таким образом и у Фигхен появилась мадемуазель Кардель. Кроме того, у нее были французский капеллан Перо (Péraud) и учитель чистописания, тоже француз, Лоране (Laurent). Несколько местных учителей дополняли собой этот довольно обильный педагогический персонал. Некий Вагнер обучал Фигхен родному языку. Музыкой занимался с ней также немец, Религ (Roellig). Впоследствии Екатерина вспоминала первых воспитателей своей юности с чувством умиленной благодарности, но с примесью некоторого шаловливого юмора. Она, однако же, отводила особое место мадемуазель Кардель, «знавшей почти все, хотя сама она никогда не училась, почти как и ее ученица», говорившей ей, что у нее «неповоротливый ум», и каждый день напоминавшей ей, чтобы она опускала свой подбородок. «Она находила, что он необыкновенно длинен, – рассказывала Екатерина, – и думала, что, вытягивая его вперед, я рискую толкнуть им встречающих людей». Добрая мадемуазель Кардель, вероятно, не подозревала, какие встречи выпадут на долю ее ученицы! Однако она не только выправляла ее ум и заставляла ее опускать подбородок: она

давала ей читать Расина, Корнеля и Мольера и отвоевывала ее от немца Вагнера, его немецкой педантичности, его померанской неповоротливости и от нелепости его «Prüfungen», оставивших по себе ужасное впечатление в душе Екатерины. Несомненно, она сообщила ей и долю своего ума – ума парижанки, сказали бы мы сегодня, живого, острого и непосредственного. Сказать ли? Она, по-видимому, оказала ей еще большую услугу, спасая ее от ее матери и не только от пощечин, расточаемых ею будущей императрице по каждому самому пустячному поводу, повинуюсь «не разуму, а настроению», а главным образом от духа, присущего супруге Христиана-Августа, которым она заражала всех окружающих и с которым мы познакомимся впоследствии: духа интриги, лжи, низких инстинктов, мелкого честолюбия, отражавшего в себе целиком душу нескольких поколений германских мелких князьков. В общем мадемуазель Кардель вполне заслужила меха, присланные ей ее ученицей по приезде ее в Петербург.

Важным дополнением к обставленному таким образом воспитанию служили частые путешествия Фигхен и ее родителей. Жизнь в Штеттине не представляла ничего привлекательного для молодой женщины, жаждавшей веселья, и молодого полкового командира, изъездившего пол-Европы. Поэтому предлоги к путешествиям всегда принимались с радостью, а их было немало при наличии большой семьи. Ездили в Цербст, в Гамбург, в Брауншвейг, в Эйтин, встречая всюду родных и не роскошное в общем, но радушное гостеприимство. Доезжали и до Берлина. В 1739 г. принцесса София впервые увидела в Эйтине того, у кого ей суждено было вырвать полученный ею престол. Петру-Ульриху Голштинскому, сыну двоюродного брата ее матери, было тогда одиннадцать лет, а ей десять.

Эта первая встреча, прошедшая тогда незаметно, не произвела на Фигхен благоприятного впечатления. По крайней мере, она утверждала это впоследствии в своих воспоминаниях. Он показался ей тщедушным. Ей сказали, что у него был скверный характер и – что кажется почти невероятным – что он имел уже пристрастие к спиртным напиткам. Другое путешествие как будто оставило более глубокий след в ее молодом воображении. В 1742 и 1743 г. в Брауншвейге, у вдовствующей герцогини, воспитавшей ее мать, католический каноник, занимавшийся хиромантией, рассмотрел на ее руке три короны и не увидел ни одной на руке хорошенькой принцессы Бевернской, которую в то время старались выдать хорошо замуж. В поисках мужа наткнуться на корону – вот в чем состояла мечта, общая всем этим немецким принцессам!

В Берлине Фигхен увидела Фридриха, но он не обратил на нее внимания; а она, в свою очередь, им не занималась. Он был великим королем и стоял на пороге великолепной карьеры; она была лишь девочкой, по-видимому, предназначенной украшать собой микроскопический двор, затерянный в каком-нибудь уголке империи.

В общем, таковы были воспитание и вступление в жизнь всех немецких принцесс того времени. Впоследствии Екатерина не без некоторой рисовки подчеркивала пробелы и недостатки этого воспитания. «Что ж? – говаривала она, – меня воспитывали, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь мелкого соседнего принца, и соответственно этому меня и учили всему, что тогда требовалось. Ни я, ни мадемуазель Кардель ничего этого не ожидали». Баронесса Принтен, статс-дама принцессы Цербстской, говорила, не обвиняя, что, пристально следя за ходом учения и успехами будущей императрицы, она не обнаружила в ней никаких особенных качеств и дарований. Она предполагала, что Екатерина будет «заурядной женщиной». Мадемуазель Кардель также не подозревала, по-видимому, что, поправляя тетради своей ученицы, она является, как однажды выразился восторженный Дидро, «подсвечником,носящим свет ее эпохи».

III

Однако в этой скромной жизни было нечто, что приближало принцессу Софию к ее будущей судьбе. Она была лишь маленькой немецкой принцессой, воспитывавшейся в маленьком немецком городе, окруженном жалким, печальным, песчаным горизонтом. Но близкое соседство бросало на него гигантскую тень, принимавшую вид привидения или чарующего миража. В этой провинции еще незадолго до того по городу расхаживали солдаты, показывая странные мундиры и нарождающийся престиж державы, недавно появившейся в Европе и внушавшей уже удивление и ужас, возбуждавшей беспредельные опасения или надежды. В самом Штеттине подробности осады, которую недавно пришлось выдержать от великого *Белого царя*, оставались у всех в памяти. В семье Фигхен Россия, огромная и таинственная Россия, ее бесчисленное войско, неисчерпаемые богатства, самодержавные ее государи служили беспрестанной темой интимных разговоров, к которым присоединялась, может быть, и некоторая доля вожделений и даже смутное предчувствие. Почему же нет? Вследствие браков, соединивших дочь Петра I с принцем Голштинским, внуку Иоанна, брата Петра, с герцогом Брауншвейгским, целая сеть взаимных нитей и притяжений образовалась между великой северной державой и многочисленным племенем хилых немецких княжеств. Семья Фигхен оказалась особенно втянутой в эту сеть. Когда в 1739 г. в Эйтине Фигхен встретила своего троюродного брата Петра-Ульриха, она узнала, что мать его была русской царевной, дочерью Петра Великого. Она узнала и историю другой дочери Петра Великого, Елизаветы, едва не ставшей невесткой ее матери.

Вдруг разнеслась весть о восшествии на престол этой самой принцессы, печальной невесты принца Карла-Августа Голштинского. 9 декабря 1741 г. Елизавета посредством одного из переворотов, становившихся частыми в истории северной дворцовой жизни, положила конец царствованию маленького Иоанна Брауншвейгского и регентству его матери. Каков же должен был быть отклик этого события в семейном кругу, где росла Екатерина! Разлученная жестокою судьбой с избранным ею супругом, новая императрица сохранила не только о молодом принце, но и о всей его семье трогательное воспоминание. Незадолго еще до того она просила прислать портреты братьев покойного принца. Очевидно, она не могла забыть и его сестры. В то время мать Фигхен несомненно припомнила предсказание каноника-хироманта. Как бы то ни было, она не замедлила написать своей двоюродной сестре и принести ей свои поздравления. Ответ на них способен был поощрить нарождающиеся надежды. Елизавета ответила не только любезно, но и нежно, объявляя себя очень тронутый вниманием, и просила прислать портрет своей сестры, принцессы Голштинской, матери принца Петра-Ульриха. Она, по-видимому, собирала коллекцию портретов; не крылось ли в этом какое-то таинственное указание?

Тайна вдруг разоблачилась. В январе 1742 г. принц Петр-Ульрих, «чертушка», как обыкновенно звала его императрица Анна Иоанновна, которую беспокоило его слишком близкое родство с русским царствующим домом, маленький троюродный брат, мельком виденный Фигхен, исчез из Киля и появился через несколько недель в Петербурге: Елизавета вызвала его, чтобы объявить своим наследником.

Это событие не оставляло места сомнениям. В России, бесспорно, взяла верх голштинская кровь, кровь матери Фигхен, и восторжествовала она над брауншвейгской кровью. Голштиния или Брауншвейг, потомство Петра Великого или потомство его старшего брата Иоанна, умерших без прямых наследников мужского пола, – вся история русского царствующего дома с 1725 г. заключалась в этой дилемме. По-видимому, торжествовала Голштиния, и тотчас же счастье нового императорского принца, едва установившись, начало уже отражаться на его скромных родственниках в Германии. Лучи его достигли и Штеттина. В

июле 1742 г. отец Фигхен был возведен Фридрихом в чин фельдмаршала – это была любезность, по-видимому, по адресу Елизаветы и ее племянника. В сентябре секретарь русского посольства в Берлине привез самой принцессе Цербстской портрет государыни, обрамленный великолепными бриллиантами. В конце того же года Фигхен отправилась с матерью в Берлин, где знаменитый французский художник Пэн написал ее портрет. Фигхен знала, что этот портрет должен быть отправлен в Петербург, где любоваться им будет не одна императрица.

Однако прошел целый год, не принеся с собой более решительных событий. В конце 1743 г. вся семья оказалась в сборе в Цербсте. Вследствие пресечения старшей ветви, незадолго перед тем цербстский престол перешел во владение родного брата Христиана-Августа. Весело отпраздновали Рождество среди небывалого комфорта и веселых предположений насчет будущего, не говоря уж о более смелых мечтаниях. Не менее весело начали и новый год, когда эстафета, прискакавшая во весь опор из Берлина, заставила вскочить со своих стульев не только порывистую Иоанну-Елизавету, но и ее более положительного супруга. На этот раз оракулы были правы, и хиромантия торжествовала блестящую победу: эстафета привезла письмо от Брюммера, гофмейстера великого князя Петра, бывшего Петра-Ульриха Голштинского, и письмо это, адресованное на имя Иоанны-Елизаветы, приглашало ее немедленно пуститься в дорогу вместе со своей дочерью, чтобы посетить императорский двор либо в Петербурге, либо в Москве.

Глава 2

Прибытие в Россию. Свадьба

I

Брюммер был старинный знакомый принцессы Иоанны-Елизаветы. Он был гувернером великого князя и, по всей вероятности, сопровождал своего воспитанника и в Эйтин. Письмо его было пространно и исполнено подробными указаниями. Принцессе следовало собраться возможно скорее, и свита ее, сокращенная до минимума, должна была состоять из одной статс-дамы, двух горничных, одного офицера, повара и двух или трех лакеев. В Риге ее будет ожидать приличная свита, которая и проводит ее до места пребывания двора. Ее мужу было строго воспрещено ее сопровождать. Ей надлежало хранить цель своего путешествия в глубокой тайне. На расспросы ей следовало отвечать, что она едет к императрице, чтобы поблагодарить ее за оказанные ей милости. Ей разрешалось, однако, открыться Фридриху II, которому все было известно. К письму был приложен чек на одного берлинского банкира, предназначенный на покрытие путевых расходов. Сумма была скромная: 10 000 р., но, по словам Брюммера, важно было не возбуждать подозрений присылкой более значительного куша. Переступив границу России, принцесса ни в чем нуждаться не будет.

Само собой разумеется, что Брюммер посылал это приглашение, похожее на приказание, и властные инструкции от имени императрицы. Впрочем, он не пояснял намерений государыни. Другой человек взял на себя этот труд. Через два часа после приезда первого курьера прискакал второй и привез письмо от прусского короля. Фридрих все объяснял. Он, впрочем, приписывал себе решение, принятое Елизаветой, остановившей свой взор на молодой принцессе Цербстской. Он в это дело действительно вмешался, и вот каким образом.

Матримониальные вожделения, конечно, не замедлили возгореться вокруг «чертушки», ставшего наследником лучезарной короны. Вскоре, начиная с бывшего гувернера великого князя, немца Брюммера, и кончая лейб-медиком императрицы, французом Лестоком, каждое лицо, игравшее роль при дворе, превосходившем по интригам все дворы

Европы, имело свою кандидатку и партию, поддерживавшую ее. Заходила поочередно речь о французской принцессе, о саксонской принцессе, дочери польского короля, о сестре короля прусского. Саксонский проект, поддерживаемый всемогущим канцлером Бестужевым, имел одно время наибольшие шансы на успех.

«Саксонский двор, – писал впоследствии Фридрих, – будучи раболепным слугой России, намеревался пристроить принцессу Марианну, вторую дочь польского короля, с целью усилить свое влияние... Русские министры, настолько алчные, что они, кажется, способны были бы торговать самой императрицей, продали преждевременно свадебный контракт: они получили щедрые дары, а король польский лишь слова...»

Принцесса Саксонская была шестнадцати лет от роду; она была тщательно воспитана и представляла подходящую партию; к тому же этот брак должен был служить основанием обширной комбинации, имевшей целью, согласно замыслам Бестужева, соединить Россию, Саксонию, Австрию, Голландию и Англию, т. е. три четверти Европы, против Пруссии и Франции. Эта комбинация не удалась, и неудаче ее всеми силами способствовал Фридрих. Однако он отказался расстроить эти планы кандидатурой своей сестры, принцессы Ульрики, которая пришлась бы по вкусу Елизавете. «Было бы жестоко, – говорил он, – принести в жертву эту принцессу». На некоторое время он предоставил своего посланника, Мардефельда, его собственным, довольно ограниченным силам и силам его французского коллеги, де ла Шетарди, также не особенно значительным в то время. Мардефельд находился в немилости с некоторых пор, и Елизавета подумывала даже о том, чтобы заставить его отозваться. Что касается де ла Шетарди, то, сыграв значительную роль при восшествии на престол новой императрицы, он сделал ошибку и не сохранил за собой завоеванного им положения. Он оставил свой пост и, вернувшись на него, не нашел уже прежних привилегий. Впрочем, его правительство его не поддерживало и заставляло его поминутно требовать инструкций. Он даже спрашивал себя: «Может быть, король все так же настроен против намеков на возможность брака великого князя с одной из сестер короля, сделанных после восшествия на престол императрицы?»

Однако Фридрих не дремал. Мысль об отправке в Петербург портрета, написанного Пэном в Берлине, исходила от него. Одному из братьев матери Фигхен, принцу Августу Голштинскому, было поручено преподнести его царице. Портрет был неважен – по-видимому, Пэн уже состарился. Однако он понравился императрице и ее племяннику. В решительную минуту, в ноябре 1743 г., Мардефельд получил приказание решительно выдвинуть принцессу Цербстскую или, если она не понравится, одну из принцесс Гессен-Дармштадтских. Не пользуясь личным влиянием, прусский агент и его французский коллега решили заручиться помощью двух упомянутых нами лиц Брюммера и Лестока, и, по свидетельству де ла Шетарди, результатом этого союза была победа. «Они представили государыне, что принцесса из влиятельного дома не окажется достаточно покладистой... Они также ловко воспользовались некоторыми духовными лицами, чтобы внушить ее величеству, что, вследствие незначительного различия между обеими религиями, католическая принцесса будет опаснее и в этом смысле». Может быть, орудуя далее в этом направлении, они подчеркнули и наличие сговорчивого отца в лице принца Цербстского, который, по словам Шетарди, «был славным малым сам по себе, хотя и необыкновенно ограниченным». Словом, в первых числах декабря Елизавета поручила Брюммеру написать письмо, взволновавшее несколько недель спустя мирный двор, где Екатерина росла под строгим надзором мадемуазель Кардель.

II

Сборы принцессы Елизаветы и ее дочери своею поспешностью удовлетворили бы Брюммера. Никто и не думал о составлении приданого для Фигхен. «Два или три платья, дюжина сорочек, столько же чулок и носовых платков» – вот все, что она взяла из родительского дома. Раз обещано было, что в России ни в чем недостатка не будет, к чему было тратиться? Впрочем, и времени на то не было. Фридрих и Брюммер слали письмо за письмом, настаивая на скором отъезде. Между тем торопить принцессу Иоанну-Елизавету было нечего. «Ей недостает только крыльев, чтобы скорее лететь», писал Брюммер Елизавете. Впрочем, по-видимому, принцесса и не намеревалась окружить особенным блеском первое появление своей дочери в России. Перечитывая ее переписку с Фридрихом в ту минуту, удивляешься, как мало попечений она уделяла будущей великой княгине.

Возникает вопрос, действительно ли речь идет о свадьбе Фигхен, и предпринимаемое путешествие в Россию имеет ли в самом деле эту цель? В этом можно усомниться. Иоанна-Елизавета едва даже намекает на это. Она главным образом думает о себе, о великих планах, возникающих в ее голове, которые она намеревается развернуть на достойной ее умения арене, об услугах, которые она собирается оказать своему державному покровителю и за которые она, как будто загодя, требует достойного вознаграждения. В этом смысле она и думала действовать в Петербурге и в Москве.

Знала ли Фигхен, о чем шла речь и в каких целях, добрых или дурных, ей приказывали укладываться? Этот пункт спорный. Она, несомненно, догадывалась, что дело было не в простой экскурсии, подобной предпринятым раньше, в Гамбурге или Эйтине. Продолжительность и горячность споров между ее отцом и матерью перед отъездом, необычайная торжественность проводов и прощания ее дяди, принца Иоанна-Людвига, даже небывалая роскошь подарка – великолепная голубая материя, затканная серебром, – которым он сопровождал последние свои излияния, все это предвещало необыкновенные события.

Отъезд состоялся 10 или 12 января 1744 г., причем не произошло никаких инцидентов. В ратуше в Цербсте до сих пор еще показывают чашу, из которой будто бы принцесса Иоанна-Елизавета пила за здоровье именитых граждан, торжественно собравшихся, чтобы пожелать ей счастливого пути. Вероятно, это лишь легенда. Однако в минуту отъезда случилось одно происшествие. Нежно поцеловав свою дочь, принц Христиан-Август вручил ей толстую книгу, прося тщательно ее беречь и добавив с таинственным видом, что ей вскоре придется к ней прибегнуть. Одновременно он передал и жене рукопись, чтобы она отдала ее дочери, после того как сама прочтет и тщательно обдумает содержание. Книга эта была трактатом Гейнекия о греческой религии. Рукопись являлась плодом ночных размышлений Христиана-Августа и была озаглавлена: «Pro metoγia»; он пытался выяснить в ней вопрос: может ли Фигхен каким-нибудь образом стать великой княгиней, не меняя религии? Это являлось главной заботой Христиана-Августа и предметом супружеских споров, привлекавших внимание Фигхен и сопровождавших приготовления к отъезду. Христиан-Август оказался непоколебимым в этом вопросе, между тем как Иоанна-Елизавета была гораздо более склонна признать необходимость, нераздельную с новой судьбой ее дочери. Почему-то отец Фигхен пожелал лично дать своей дочери оружие против покушений, оскорблявших его. Труд Гейнекия и долженствовал служить этой цели. То была тяжелая крепостная артиллерия. «Pro metoγia» заключала в себе соображения и советы другого порядка, в которых отражались практический ум, свойственный самым возвышенным немецким душам, и мелочные привычки двора, подобного Цербстскому или Штеттинскому. Он советовал будущей великой княгине оказывать крайнее уважение и беспрекословное повиновение тем, от кого зависела отныне ее судьба; выше всего ей подлежало ставить желания ее супруга; ей следовало

избегать слишком интимного сближения с кем бы то ни было из окружающих ее лиц. В приемных залах ей надлежало не разговаривать ни с кем в отдельности. Ей надо было беречь свои карманные деньги, дабы не подпасть под власть гофмейстерины. Наконец, она в особенности не должна была вмешиваться в дела управления. Все это было изложено на жаргоне, представляющем любопытный образец обычного языка той эпохи, того немецкого языка, который Фридрих презирал не без причины, судя по следующему отрывку: *«Nicht in familiarité oder badinage zu entriren, sondern allezeit einigen égard sich conserviren. In keine Regierungssachen zu entriren, um den Senat nicht aigriren»*. И так далее.

Два месяца спустя Фигхен горячо благодарила отца за эти «милостивые советы». Увидим далее, как она ими воспользовалась.

В Берлине, где обе принцессы остановились на несколько дней, будущая императрица последний раз в жизни увидела Фридриха Великого. В Шведте-на-Одере она распрощалась навеки с отцом, сопровождавшим их до этого города. Он вернулся в Штеттин, а Иоанна-Елизавета направилась через Штаргарт и Мемель в Ригу. Это путешествие, в особенности в то время года, не представляло ничего приятного. Снега не было, но острый холод заставлял обеих женщин закрывать лицо маской. Не было комфортабельных пристанищ, где можно было бы отдохнуть. Приказания Фридриха, отрекомендовавшего графиню Рейнбек – принцесса путешествовала под этим именем – прусским почтмейстерам и бургомистрам, не могли ничего изменить к лучшему. «Так как комнаты в почтовых домах не отапливались, то приходилось ютиться в комнате самого почтмейстера, ничем не отличавшейся от свиного хлева: муж, жена, сторожевой пес, куры, дети спали вповалку в колыбелях, в кроватях, за печами, на матрацах». После Мемеля было еще хуже. Не было даже почтовых дворов. Приходилось обращаться к крестьянам, чтобы достать лошадей, а их надо было двадцать четыре для четырех тяжелых дорожных карет, везших принцесс и их свиту. К каретам в предвидении снега, который мог бы встретиться по мере движения на север, были привязаны сани. Внешний вид поезда получал таким образом живописный оттенок, но зато затруднялось его движение. Двигались медленно. Фигхен успела даже расстроить себе желудок местным пивом.

В Митаву приехали 5 февраля в совершенном изнеможении. Там их встретили лучше, и гордость Иоанны-Елизаветы, тайно уязвленная вынужденною близостью к почтмейстерам, получила впервые удовлетворение. В Митаве был русский гарнизон, и командир, полковник Воейков, постарался принять как можно лучше столь близкую родственницу своей государыни. На следующий день уже приехали в Ригу.

Сцена внезапно переменялась, будто в феерии. Письма принцессы к своему мужу дают восторженные описания этого неожиданного превращения: гражданские и военные власти, с вице-губернатором князем Долгоруковым во главе, встретили ее у въезда в город; другой вельможа, Семен Кириллович Нарышкин, бывший послом в Лондоне, привез парадную карету; по дороге во дворец гремели пушки и т. д. И в самом замке, уготованном для приема дальних гостей, какая роскошь! Великолепно меблированные комнаты, часовые у всех дверей, курьеры на всех лестницах, барабанный бой во дворе. Яркие освещенные залы – полны народа; придворный этикет, целование рук и низкие реверансы; обилие великолепных мундиров, чудных нарядов, ослепительных бриллиантов; бархат, шелк, золото, невероятная, невиданная дотоле роскошь кругом... Иоанна-Елизавета чувствует, что голова ее кружится, ей все это кажется сном.

«Когда я иду обедать, – пишет она, – раздаются звуки трубы; барабаны, флейты, гобои наружной стражи оглашают воздух своими звуками. Мне все кажется, что я нахожусь в свите ее императорского величества или какой-нибудь великой государыни; я не могу освоиться с мыслью, что это для меня, для которой в иных местах едва бьют в барабаны, а в иных местах и этого не делают». Однако она охотно все принимает и всей душой наслаждается. Что касается Фигхен, нам неизвестно, какое впечатление произвела на нее картина могуще-

ства и роскоши, внезапно раскинувшаяся перед ней. Но, несомненно, оно было глубоко. То была Россия, великая, таинственная Россия, являющаяся ей и заставляющая ее предвкушать будущее великолепие.

9 февраля снова пустились в путь. Поехали в Петербург, где по желанию государыни им следовало остановиться на несколько дней, а затем уже ехать к ней в Москву. Принцессы должны были воспользоваться своим пребыванием в столице, чтобы применить свой туалет к общепринятой моде. Со стороны Елизаветы это был деликатный способ исправить угаданные или сообщенные заранее неисправности и нехватки в гардеробе Фигхен. Несомненно, со своими тремя платьями и дюжиной сорочек будущая великая княгиня играла бы плачевную роль при дворе, являвшемся средоточием всякой роскоши. Сама государыня имела пятнадцать тысяч шелковых платьев и пять тысяч пар башмаков! Екатерина безбоязненно вспоминала впоследствии о бедности, сопровождавшей ее в ее новое отечество. В то время она полагала, что уплатила уже свой долг.

Само собой разумеется, что в Митаве остались тяжелые немецкие дорожные кареты. Другой поезд должен был везти обеих путешественниц по дороге к новому счастью. Принцесса Цербстская описывает его следующим образом: «1 – отряд лейб-кирасир его императорского высочества, именуемый голштинскими полками, под командой поручика; 2 – камергер князь Нарышкин; 3 – шталмейстер; 4 – офицер лейб-гвардии Измайловского полка; 5 – метрдотель; 6 – кондитер; 7 – не знаю уже, сколько поваров и их помощников; 8 – ключник и его помощники; 9 – человек для кофе; 10 – восемь лакеев; 11 – два гренadera лейб-гвардии Измайловского полка; 12 – два фурыера; 13 – не знаю сколько саней и конюхов... Среди саней есть сани, которыми пользуется ее императорское величество, так называемые „les linges“ (sic!). Они ярко-красные, украшенные серебром, опушенные внутри кунным мехом. Устланы они шелковыми матрасами и такими же одеялами, поверх них лежит одеяло, присланное мне вместе с шубами, – подарок императрицы, привезенный Нарышкиным. Я буду лежать в этих санях во весь рост вместе с дочерью. У мадам Кайн (статс-дама принцессы) менее красивые сани, она едет совсем одна». Далее Иоанна-Елизавета еще более восторгается совершенствами чудесных императорских саней: «Они по форме очень длинны; верх напоминает верх наших немецких экипажей. Они обиты красным сукном с серебряными галунами. Низ устлан мехом; на него положены матрасы, перины и шелковые подушки; а сверх всего этого разостлано очень чистое атласное одеяло, на которое и ложишься. Под голову кладут еще другие подушки, а покрываются подбитым мехом одеялом; таким образом оказываешься совсем как в постели. Кроме того, длинное расстояние между кучером и задком служит еще и для других целей и полезно в том отношении, что по каким бы ухам мы ни ехали, не чувствуется вовсе толчков; дно саней представляет ряд сундуков, куда кладешь что угодно. Днем на них сидят лица свиты, а ночью люди могут лечь на них во весь рост. Они запряжены шестью лошадьми парами, опрокинуться они не могут... все это придумано Петром Великим».

Елизаветы не было в Петербурге с 21 января. Все же в столице находилось еще много лиц, принадлежавших ко двору, и часть дипломатического корпуса. В то время путешествие в Москву являлось целым событием. Приходилось брать с собой не только людей, но и часть мебели. Отъезд государыни перемещал до ста тысяч человек и целый квартал города. Впрочем, французский и прусский посланники не позволили никому предупредить их у обеих принцесс. Оба поспешно отправились к ним. Таким образом принцесса Цербстская оказалась окруженной атмосферой искательства, почтения, чрезмерной лести, в которой уже проглядывали интриги и страстное соперничество. Она очутилась в своей стихии и сладострастно погрузилась в нее, делая приемы, давая аудиенции с утра до вечера, приглашая на «партию» выдающихся знатных людей и приучаясь к более сложной игре в политику. Через неделю она сильно утомилась. Ее дочь оказалась выносливее. «Figchen southenirt die Fatigue

besser, als ich», писала принцесса своему мужу. Она добавляла и следующую черточку, где проглядывает уже характер будущей Семирамиды: «Величие всего окружающего поддерживает мужество Фигхен».

Величие! Действительно, эта черта как будто сильнее всего занимает ум этой пятнадцатилетней девочки в эту минуту, когда раскрывалась перед ней тайна ожидавшей ее судьбы. Позднее, находясь на вершине своей удивительной карьеры, она сохранила как бы следы ослепления и опьянения горизонтами, развернувшимися перед ней в то время. Вместе с тем она узнает, из чего соткано это величие и как оно достигается. Ей показывают казармы, из которых Елизавета отправилась завоевывать престол; она видит и суровых гренадер Преображенского полка, сопровождавших государыню в ночь 6 декабря 1741 г. Эти беспримерные наглядные уроки запечатлеваются в ее пытливом уме.

В уме ее матери, однако, иногда к упоению настоящей минуты примешивается и некоторая тревога. Сквозь расточаемые ей комплименты и похвалы к ее уху прокрадываются некоторые сдержанные предупреждения и скрытые угрозы. Всемогуший Бестужев все еще противится предполагаемому браку и не складывает оружия. Он рассчитывает на епископа новгородского, Амвросия Юшкевича, оскорбленного слишком близким родством между великим князем и принцессой Софией и, по слухам, подкупленного саксонским двором тысячей рублей.

Влияние его значительное. Но Иоанна-Елизавета мужественна. Две причины, стоящие аргументов всех ее противников, поддерживают ее самоуверенность и веру в успех: во-первых, необыкновенное легкомыслие ее характера, вследствие чего она сама называет себя «игривым духом», и ее мнение о себе, о своих способностях интриговать и умнее преодолевать самые большие препятствия. В чем, собственно, было дело? В победе над оппозицией недоброжелательного министра. К тому было средство, о котором было говорено ею с Фридрихом при проезде ее через Берлин; оно состояло в том, чтобы устранить оппозицию, устранив самого министра, «свергнуть Бестужева». Фридрих давно уже подумывал об этом. Что ж? Она свергнет Бестужева, как только приедет в Москву! Брюммер и Лесток ей в этом помогут.

III

Это путешествие ничем не походило на путешествие из Берлина в Ригу. Почтовые дворы по дороге напоминают скорей дворцы. Сани летят по твердому снегу. Едут день и ночь, чтобы приехать в Москву 9 февраля, ко дню рождения великого князя. На последней заставе, в семидесяти верстах от Москвы, в знаменитые сани, придуманные Петром Великим, впрягают шестнадцать лошадей и в три часа сжигают это пространство. Этот головокружительный бег, однако, чуть не был прерван несчастным случаем. Проезжая одну деревню во весь дух, тяжелые сани, везомые шестнадцатью конями и еще раз везущие счастье России, ударяются об угол избы. От толчка два толстых железных бруса отрываются от покато́й крыши и, скатившись с нее, чуть не убивают обеих принцесс. Один из них ударяет Иоанну-Елизавету по груди, но шуба, в которую она закутана, ослабляет удар, дочь ее даже не проснулась. Два гренадера Преображенского полка, сидевшие на козлах, лежат в снегу с окровавленными головами и поломанными членами. Жителям села предоставляют их поднять, стегают лошадей и в восемь часов вечера останавливаются у деревянного «Головинского дворца», обитаемого государыней.

Елизавета, снедаемая нетерпением, стала за двойными шпалерами придворных, выстроившихся для встречи приезжих гостей. Ее племянник, еще более нетерпеливый, нарушает этикет и спешит в их апартаменты, где, не дав им даже снять шубы, приветствует их самым нежным образом (*auf tendreste*). Вскоре они являются императрице, свидание схо-

дит самым лучшим образом. Оно даже оттенено ноткой умиления, являющейся счастливым предзнаменованием. Внимательно взглядевшись в мать будущей великой княгини, императрица поворачивается и поспешно выходит. Оказывается, она хочет скрыть свои слезы, так как черты лица принцессы напомнили ей ее неутешную скорбь. Впрочем, принцесса, следуя совету Брюммера, не преминула поцеловать руку императрицы, а Елизавета чувствительна к знакам чрезвычайного почтения.

На следующий день Фигхен и ее мать одновременно производятся в кавалерственные дамы ордена св. Екатерины – по просьбе великого князя, как уверяет их Елизавета. «Моя дочь и я живем, как королевы», пишет принцесса Цербстская своему мужу. Что касается всемогущего Бестужева, судьба его решена. Принцессе не приходится даже организовывать заговора для его свержения, так как он уже готов: перемена в судьбе Петра-Ульриха привлекла в Россию партию Франции и партию Пруссии, поддерживаемую голштинцами. По-видимому, всеми ими управляет Лесток, выдвигая вперед, в виде оппозиции Бестужеву, графа Михаила Воронцова, принимавшего участие в восшествии на престол Елизаветы. Здесь не место для характеристики министра, одного из самых замечательных дипломатических кондотьеров той эпохи, служившего многим лицам перед тем, как предложить окончательно свои услуги России. Сознает ли мать Фигхен значение затеянной ею борьбы и могущество своего соперника? Вряд ли. Она твердо помнит, что Фридрих обещал дать ее младшей сестре Кведлинбургское аббатство в случае успеха ее затеи, и она намерена получить свое аббатство. Падение Бестужева, согласно планам Фридриха, являлось бы сигналом к перемещению фигур на политической шахматной доске, следствием которого было бы сближение между Россией, Пруссией и Швецией. Как прославилась бы принцесса Цербстская, если бы ей удалось пристегнуть свое имя к подобному событию! Она чувствует, что это ей по плечу. Она – женщина, и приехала из Цербста: в этом заключается ее оправдание. Ей все кажется, что она имеет дело с маленькими интригами и жидкими политическими комбинациями, с которыми она была знакома в Цербсте; в этом и состояла ее великая ошибка вплоть до того дня, когда перед ее прозревшими глазами предстала необъятность бездны, на край которой она бессознательно ступила. О браке своей дочери она более и не заботится. «Это дело сделано», пишет она своему мужу. Фигхен всем понравилась. «Государыня ее ласкает, наследник любит ее». Что же, между тем, говорит сердце невесты? Воспоминание о первой встрече в Эйтине с тщедушным «кильским ребенком» уступило ли теперь место более благоприятным впечатлениям? Мать Фигхен и не заботится об этом. Петр – великий князь, он будет когда-нибудь императором. Сердце ее дочери было бы сделано из другого теста, чем сердца всех немецких настоящих и прежних принцесс, если бы оно не удовлетворилось обещаниями счастья, данными в такой форме. Посмотрим, однако, что стало с хилым ребенком после неожиданной перемены, внесенной в его судьбу!

IV

Петр родился в Киле 10 февраля 1728 г. В этот день голштинский министр Бассевич писал в Петербург, что царевна Анна Петровна родила здорового и крепкого мальчика. Под его пером то было лишь придворная лесть. Ребенок не был крепким и никогда им не стал. Мать его умерла от чахотки три месяца спустя. Его слабое здоровье и было причиной, почему воспитание его было неудовлетворительно. До семи лет он оставался на руках у нянек – как в Штеттине, так и в Киле они были француженки. У него был и учитель французского языка, Милле. В семь лет его резко заставили перейти под дисциплину офицеров голштинской гвардии. Не став еще мужчиной, он уж делается солдатом – солдатом казарменным, кордегардии и плац-парада. Вследствие этого он приобретает пристрастие к ремеслу, но к наиболее низменной его стороне, к его грубости, мелочности и вульгарности. Он участвует

в учениях, несет караульную службу. В 1737 г., девяти лет, он уже сержант и по обязанностям службы стоит с обнаженным оружием у двери залы, где отец его роскошно пирует с офицерами. По мере того, как перед его глазами проносят вкусные блюда, слезы ручьями текут по щекам ребенка. Вступив на престол, Петр называл это происшествие самым лучшим воспоминанием своей жизни.

В 1739 г., по смерти отца, наступает другой режим: появляется главный воспитатель, руководящий несколькими другими. Этот главный воспитатель – знакомый уже нам голштинiec Брюммер. Рюльер восхваляет этого человека, «обладающего редкими достоинствами», и находит, что единственная его ошибка заключается в том, что он «воспитал молодого принца по самым высоким образцам, соображаясь скорее с его судьбой, чем с его умом». Другие показания касательно этого лица не столь для него благоприятны. Француз Милле утверждал, что он «годен был воспитывать лошадей, а не принцев». Он грубо обращался со своим воспитанником, подвергая его неразумным наказаниям, не соответствовавшим его хрупкому телосложению; например, он оставлял его без пищи или подвергал мукам долгого стояния на коленях *на сухом горохе, рассыпанном по полу*. Вследствие того, что маленький принц, «чертушка», упорно продолжавший жить наперекор императрице Анне, был одновременно кандидатом и на шведский и на русский престолы, его попеременно обучали то русскому, то шведскому языку, сообразно планам данного момента. В результате он не знал ни того, ни другого языка. Когда он приехал в Петербург в 1742 г., Елизавета удивилась его отсталости. Она поручила его Штелину. Он был саксонец, переселившийся в Россию в 1736 г., профессор элоквенции, поэзии, философии Готтшедта, логики Вольфа и еще многих других предметов. Кроме своей профессорской учености, он обладал еще и множеством талантов: писал стихи по поводу придворных торжеств, переводил итальянские оперы для театра ее величества, составлял рисунки для медалей в память побед, одержанных над татарами, управлял хорами императорской капеллы, сочинял эмблемы для фейерверков и т. п.

Легко себе представить, каково было воспитание Петра среди вышеупомянутых обстоятельств! Брюммер остался при нем в качестве гофмаршала и, по свидетельству Штелина, стал еще грубее. Однажды потребовалось его вмешательство для того, чтобы предотвратить насилие над великим князем, так как голштинiec бросился на него с поднятыми кулаками, а Петр, полумертвый от страха, стал звать на помощь гренадер гвардии, стоявших на часах.

Под влиянием подобного режима характер будущего супруга Екатерины приобрел уродливые и порочные свойства: он стал одновременно несдержан и хитер, труслив и хвастлив. Он удивлял чистосердечную Фигхен своею ложью, как удивлял впоследствии весь мир своей трусостью. Однажды он захотел было повергнуть в изумление Фигхен рассказами о своих подвигах во время войны с датчанами. Она наивно спросила, когда это было. – «За три или четыре года до смерти моего отца». – «Значит, вам не было еще и семи лет!» Он очень рассердился.

Вместе с тем он оставался тщедушным, непривлекательным как в физическом, так и в нравственном отношении и обладал странной, беспокойной душой, заключенной в узком, малокровном и преждевременно истощенном теле. Фигхен, несомненно, ошиблась бы, если бы рассчитывала на его привязанность для упрочения своего положения в России, как эта привязанность ни казалась искренней Иоанне-Елизавете. Был ли он вообще способен любить, этот молодой человек столь печального образа?

К счастью для себя, Екатерина могла с самого начала полагаться, помимо всякой другой поддержки, на свои собственные силы. Ее рассказы про эту эпоху ее жизни показались бы почти невероятными, если бы мы не имели возможности проверить искренность ее повествования. Ей едва исполнилось пятнадцать лет, но уже мы замечаем в ней верный и проницательный взгляд, меткость суждений, изумительную способность схватывать положение и необыкновенно здравый смысл, составлявшие впоследствии части ее гения, может быть,

даже весь ее гений. Прежде всего она поняла, что для того, чтобы остаться в России, иметь в ней значение и – как знать? – играть в ней роль, следует сделаться русской. Ее троюродный брат Петр, без сомнений, и не помышлял об этом. Но она быстро отдает себе отчет в неловкости и тайном недовольстве, возбуждаемом его голштинским жаргоном и немецкими манерами.

Она встает ночью, чтобы повторять уроки учителя русского языка Ададунова. Она не дает себе труда одеться и ходит босиком по комнате, чтобы не заснуть, и простужается. Вскоре жизнь ее находится в опасности.

«Молодая принцесса Цербстская, – пишет Шетарди 26 марта 1744 г., – заболела воспалением легких. Саксонская партия поднимает голову. Согласно свидетельству французского дипломата, она жестоко ошибается, так как Елизавета не намерена, что бы ни случилось, дать ей воспользоваться событиями. „Она говорила третьего дня Брюммеру и Лестоку, что они тем ничего не выиграют, а ежели б она такое дражайшее дитя потерять несчастье имела, то она дьяволом клялась, что саксонской принцессы, однако ж, никогда не возьмет“. Впрочем, Шетарди пишет: „Брюммер мне в конфиденции открыл, что в случае бедственной крайности, которой опасаться и предусматривать надлежит, он пути приуготовил и что молодая принцесса д'Армштадтская (sic), прекрасная собою и которую король Прусский представлял, в случае когда б принцесса Цербстская успеха не получила, – всем другим принцессам предпочтена была б. Однако ж прибежище к такому способу немалым несчастьем быть имело б, и мы в том много б потеряли, в рассуждении того мнения и удостоверения, которые принцессы Цербстские, мать и дочь, обо мне имеют, что я в будущем их благополучию, которое им приуготовляется, воспомоществовал“.

В то время как вокруг нее пробуждается честолюбивое соперничество, принцесса София борется со смертью. Доктора предписывают кровопускание. Ее мать этому противится. Дело передается на обсуждение императрицы; но она находится в Троицкой лавре, погруженная в молитвы, которым она предается страстно, хотя и порывами, влагая страсть во все свои поступки. Проходит пять дней; больная все ждет. Наконец Елизавета приезжает в сопровождении Лестока и приказывает пустить кровь. Бедная Фигхен теряет сознание. Придя в себя, она видит себя в объятиях императрицы. Чтобы вознаградить ее за то, что она дала уколоть себя ланцетом, императрица дарит ей бриллиантовое ожерелье и серьги ценою в двадцать тысяч рублей, по оценке принцессы Иоанны-Елизаветы. Сам Петр обнаруживает щедрость и преподносит ей часы, осыпанные бриллиантами и рубинами. Однако ни бриллианты, ни рубины не властны над лихорадкой. В течение двадцати семи дней больной пускают кровь шестнадцать раз, иногда по четыре раза в сутки. Наконец, молодость и крепкий организм Фигхен одерживают верх и над болезнью и над лечением. Оказалось даже, что этот долгий и болезненный кризис имел на ее судьбу решительное и особенно счастливое влияние. Во-первых, насколько мать ее умудрилась опротивить всем, вечно препираясь с докторами, ссорясь с окружающими и со своей дочерью, которую мучила, невзирая на ее страдания, настолько Екатерина сумела, несмотря на свое положение, завоевать все сердца и привлечь все симпатии. В это время разыгралась история с материей – со знаменитой голубой материей, подаренной ей ее дядей Людвигом. Иоанна-Елизавета почему-то вздумала отнять ее у бедной Фигхен. Можно себе представить, какой шум поднялся вокруг больной по случаю этого пустого инцидента: хор упреков по адресу бесчувственной, жестокосердой матери, – хор симпатий в пользу дочери, жертвы столь недостойного обращения. Фигхен уступила материю и ничего от этого не потеряла. Она торжествовала, впрочем, и другие победы.

Ее болезнь сама по себе делала ее привлекательной в глазах русских. Все знали, каким образом она ее схватила. Образ молодой девушки, босиком изучающей по ночам созвучия славянского языка, невзирая на суровую зиму, пленял воображение и становился легендар-

ным. Вскоре стало известно, что, когда она была очень плоха, мать ее хотела позвать протестантского пастора. «Это зачем? – сказала она. – Позовите лучше Симеона Тодорского». Симеон Тодорский был православный священник, которому поручили религиозное воспитание великого князя и который должен был приняться и за религиозное воспитание великой княгини.

Каковы были в данную минуту чувства принцессы Софии относительно этого щекотливого вопроса? Трудно произнести о них правильное суждение. Некоторые признаки указывают на то, что труд Гейнекция и советы, изложенные в «Pro memoria» Христиана-Августа, произвели на нее довольно глубокое впечатление. «Я молю Бога, – писала она отцу еще из Кенигсберга, – чтобы он даровал моей душе силы, необходимые для того, чтобы выдерживать искушения, которым я, по-видимому, буду подвергнута. Он дарует мне эту милость молитвами вашего высочества и дорогой мамы». Со своей стороны Мардефельд был озабочен. «Меня сильно смущает лишь одно обстоятельство, – пишет он, – а именно: мать думает или делает вид, что думает, что молодой красавице нельзя будет перейти в православную веру».

Он рассказывает еще, что как-то раз пришлось призвать протестантского пастора, чтобы он успокоил ее сердце, встревоженное уроками православного священника. Вот, однако, какое представление составила себе впоследствии Екатерина, опираясь на личный опыт, о трудностях, с которыми сопряжен переход в лоно православной церкви немецкой принцессы, воспитанной в лютеранстве, о количестве времени, требуемом для одоления их, и о ходе разрешенной подобным образом нравственной задачи.

В письме к Гримму от 18 августа 1776 г. она выражается следующим образом о принцессе Вюртембергской, выбранной ею для своего сына Павла: «Как только мы ее получим, мы приступим к ее обращению. На это потребуются, пожалуй, дней пятнадцать... Чтобы ускорить дело, Пастухов отправился в Мемель, где выучит ее азбуке и исповеданию веры по-русски: *убеждение придет после*».

Как бы то ни было, но отказ от лютеранского пастора – отречение от верований детства, исходящее из уст умирающей будущей великой княгини, и призыв Тодорского к исповеданию православной веры – нашли сочувственный отклик в России. С этого времени положение Фигхен было обеспечено. Что бы ни случилось, она отныне могла быть уверена в том, что найдет приют в сердце наивного и глубоко религиозного народа, желающего доказать ей свою благодарность. Узы, связавшие маленькую немецкую принцессу с великим славянским народом, на языке которого она только что начинала лепетать, договор, в продолжение почти столетия соединявший их в одной славной судьбе и расторгнутый лишь смертью, – эти узы, этот договор образовались с этой минуты.

20 апреля 1744 г. принцесса София впервые после болезни появляется публично. Она еще так бледна, что императрица посылает ей банку румян, но она все-таки привлекает все взоры и чувствует, что взоры эти большей частью благожелательны. Она уже нравится и привлекает к себе. Она сияет и согревает ледяную атмосферу двора, которому она сумеет впоследствии придать столько блеска. Даже Петр становится любезнее и доверчивее. Увы! его любезность и доверчивость совершенно особого свойства: он рассказывает своей будущей супруге историю своей любви к одной из фрейлин императрицы, Лопухиной, мать которой была недавно сослана в Сибирь. Фрейлине пришлось при этом покинуть двор. Петр хотел было на ней жениться, но подчинился воле императрицы. Фигхен краснеет и, не теряя самообладания, благодарит великого князя за честь, оказываемую ей тем, что делает ее поверенной своих тайн. Таким образом, уже выясняется, какая будущность ожидает эти два столь различные существа.

V

Тем временем принцесса Иоанна-Елизавета вполне погрузилась в свои политические предприятия. Она сошлась с семьей Трубецких и даже с Бецким, проявлявшим уже свой беспокойный характер. В ее салоне собираются все противники настоящей политической «системы», все враги Бестужева: Лесток, Шетарди, Мардефельд, Брюммер. Она интригует, замышляет, шепчется. Она смело идет вперед со свойственной нервным женщинам страстностью и присущим ей легкомыслием; ей кажется, что в ее руках успех и Кведлинбургское аббатство. Она в воображении уже принимает поздравления Фридриха и входит в роль посланника при великом северном дворе, ставшем его лучшим и драгоценнейшим союзником. Она не видит разверзающейся у ее ног пропасти.

1 июня 1744 г. Елизавета снова отправляется в Троицкую лавру. Путешествие совершается со всей пышностью торжественного богомолья; императрицу сопровождает половина двора, а сама она идет пешком. Вступая на престол, она дала обет возобновлять это богомолье каждый раз, как будет приезжать в Москву, в память того, что Петр I нашел в древней обители убежище во время стрелецкого бунта. Принцесса София, будучи еще слишком слабой, не могла сопровождать императрицу, и мать ее осталась с ней. Однако через три дня является курьер с письмами от Елизаветы, повелевающей обоим принцессам присоединиться к императорскому шествию, дабы присутствовать при торжественном въезде императрицы в Троицкую лавру. Не успели они расположиться в келье, куда пришел и великий князь, как является императрица в сопровождении Лестока. Она, в большом волнении, приказывает принцессе Иоанне-Елизавете следовать за ней в соседнюю комнату. За ними идет и Лесток. Свидание длится долго, но Фигхен не тревожится этим, так как она поглощена вздорной, по обыкновению, болтовней Петра. Мало-помалу молодость и живость ее ума одерживают верх над чувством неловкости, внушаемым ей обыкновенно присутствием великого князя, и они весело разговаривают и смеются. Вдруг возвращается Лесток. «Ваша радость скоро кончится!» сказал он резко; затем, обращаясь к принцессе Софии, он прибавил: «Вам остается только укладываться». Фигхен немеет от изумления, а великий князь спрашивает, что это значит. «Сами скоро увидите», отвечает Лесток.

«Я ясно видела, – пишет Екатерина в своих „Записках“, – что он (великий князь) расстался бы со мной без сожаления. Ввиду его отношения ко мне, я была к нему почти совсем равнодушна, но я не была равнодушна к российской короне». Могла ли, действительно, эта пятнадцатилетняя девочка думать уже о короне? Почему же нет? Она писала свои записки через сорок лет – если предположить, что она их писала в том виде, в каком они до нас дошли, – и неизбежно преувеличивала свои детские впечатления. «Сердце мое, – говорит она дальше, вспоминая ту же эпоху своей жизни, – не предвещало мне ничего доброго; меня поддерживало лишь честолюбие. В глубине моего сердца всегда таилось нечто, что не позволяло мне сомневаться в том, что мне удастся сделаться императрицей всероссийской по собственному своему почину». Здесь преувеличение очевидно и добавление *a posteriori* бросается в глаза. Но престол, разделенный с Петром, мог, пожалуй, казаться заманчивым ее детскому воображению; случалось ведь, что и более отдаленные «надежды» фигурировали в брачном приданом, и даже в настоящее время пятнадцатилетние невесты прекрасно умеют их учитывать.

Вслед за Лестоком появляется императрица, очень красная, а за ней принцесса Иоанна-Елизавета, очень взволнованная и с заплаканными глазами. При виде государыни молодые люди, сидевшие на подоконнике с болтающимися ногами, поспешно соскакивают на пол. Эта картина как будто обезоруживает императрицу. Она улыбается, подходит к ним, целует их и выходит, не вымолвив ни слова. Тут тайна разоблачается. Уж больше месяца принцесса

Цербстская, не подозревая того, ходила по mine, вырытой под ее ногами врагом, которого она думала одолеть без труда. И вот мина взорвалась.

Маркиз де ла Шетарди вернулся в Россию с репутацией самого блестящего дипломата того времени, опиравшейся на роль, сыгранную им в России. Ему было двадцать шесть лет. Он был высокого роста, строен, красивой, аристократической наружности и, казалось, предназначен был занять высокое положение при дворе, где все решения зависели от фавора, где прежде всего и главным образом надо было нравиться и где, как говорят, он раньше уже успел понравиться. Он составил себе очень ловкий план, пожалуй, даже слишком ловкий план; ему не без труда удалось заставить Версальский двор принять его. Он заключался в том, чтобы поставить падение Бестужева, т. е. отречение от австрийской политики, защищаемой им, условием уступки, давно уже обсуждаемой обоими дворами, чрезвычайно желаемой Елизаветой и упорно отвергаемой Францией. Дело шло о титуле императорского величества, молчаливо признаваемом за преемниками Петра Великого, но еще не зарегистрированном и потому отсутствовавшем в официальных бумагах, исходивших из канцелярии наихристианейшего короля.

Шетарди добился того, что в его верительные грамоты был внесен желанный титул. Он оставил их у себя, чтобы отдать их лишь преемнику Бестужева, после падения последнего. Это стало известно Елизавете, а вскоре и всему двору. До тех пор французский дипломат, опираясь на личное влияние, имел дело непосредственно с императрицей, помимо ее канцлера. Однако он слишком понадеялся на свои силы и обманывался насчет характера Елизаветы. Портрет дочери Петра I был не раз обрисован, и мы имеем, по всей вероятности, верное понятие о характере этой странной государыни, одновременно беспокойной и ленивой, любящей веселиться и интересующейся делами, проводящей целые часы за своим туалетом, но заставляющей ожидать неделями и даже месяцами подписи или приказа. В ней уживались самые противоречивые свойства. Это была женщина властная, чувственная, набожная, неверующая и суеверная, поминутно переходившая от излишеств, разрушавших ее здоровье, к религиозной экзальтации, поражавшей ее разум: в наше время мы бы назвали ее истеричной. Барон де Бретейль рассказывает в одной из своих депеш, что в 1760 г. ей следовало подписать возобновленный договор, заключенный в 1746 г. с Венским кабинетом; она уже написала Ели..., когда на ее перо села оса. Она остановилась, и лишь через шесть месяцев dokonчила свою подпись! Принцесса Цербстская оставила недурное описание ее внешности:

«Императрица Елизавета очень высокого роста; она была отлично сложена. В мое время она уже стала полнеть, и мне всегда казалось, что ее касались слова Сент-Эвремона в описании знаменитой герцогини Мазарини, Гортензии Манчини: „Талия ее тонка в той мере, в какой у другой она была бы красивой“. В то время это к ней относилось в буквальном смысле. Голова безукоризненна; правда, нос менее безупречен, но он на месте. Рот бесподобен; другого такого не сыскать: он полон грации, улыбки и кокетства. Он не умеет гримасничать и слагается только в грациозные складки; и брань из этих уст казалась бы прелестной, если бы они умели ее выговорить. Два ряда жемчужин виднеются меж красных губ, совершенство которых нельзя себе представить, не видев их. Глаза трогательны; да, они на меня производят именно это впечатление! Они кажутся черными, в действительности они голубые. Они внушают кротость, которою проникнуты... Лоб чрезвычайно приятен. Волосы ее растут так правильно, что от одного взмаха гребня они искусно и красиво ложатся. У императрицы черные брови и волосы естественного пепельного оттенка. Все ее лицо благородно, походка красива; она грациозна, говорит хорошо, приятным голосом, движения ее решительны. Словом, нет лица, подобного ей! Цвет лица, грудь и руки – невиданные по красоте. Поверьте мне, я знаток, и говорю без предубеждения»!

В отношении нравственном желчное перо маркиза Шетарди в то же время противопоставляло этому грациозному видению совершенно иную характеристику. Всем известна история перехваченной переписки неосторожного дипломата, в которой негодующая государыня прочла самые возмутительные обвинения. В своих мемуарах, являющихся, по всей вероятности, апокрифическими, д'Эон приписывает, кроме того, графу Воронцову следующие суждения:

«Под личиной добродушия, она (Елизавета) обладает тонким, острым умом. Если заранее не застегнуться и не надеть панциря, защищающего от ее взгляда, он проникает под ваше одеяние, раскрывает его, раздевает вас, открывает вашу грудь и, когда вы это заметите, то уже слишком поздно: вы обнажены, эта женщина все прочла внутри вас и обыскала вашу душу... Ее чистосердечие и доброта не что иное, как маска! Во Франции, например, и во всей Европе она пользуется репутацией милостивой. Действительно, при восшествии на престол она поклялась св. Николаю Чудотворцу, что в ее царствование никто не будет казнен. Она сдержала свое слово в буквальном его смысле: ни одна голова не была еще отрублена; но зато отрублены две тысячи языков и две тысячи пар ушей... Вы, вероятно, знаете историю бедной и интересной Евдокии Лопухиной? Она, может быть, и была виновата перед ее величеством, но главная ее вина заключалась в том, что она была ее соперница и красивее ее. Елизавета велела проколоть ей язык раскаленным железом и дать ей двадцать ударов кнута рукой палача; несчастная была беременна и должна была родить... Вся ее частная жизнь полна таких же противоречий. То безбожная, то набожная, неверующая до атеизма, ханжа и суеверная, она проводит целые часы на коленях перед иконой Богородицы, разговаривая с ней и страстно вопрошая ее, в какой гвардейской роте ей надлежит взять любовника... Я забыл еще одно обстоятельство... Ее величество питает сильное пристрастие к спиртным напиткам. Случается, что под их влиянием она теряет сознание. Тогда приходится разрезать ее платье и корсет. Она бьет слуг и служанок...».

Можно себе представить, с какими трудностями приходилось сталкиваться Шетарди, имея дело с государыней подобного странного характера, и на какой скользкий путь стала принцесса Цербстская. Она сделалась его сообщницей и в конце концов возложила на него все свои надежды. Мардефельд от нее отошел, Брюммер мало-помалу уклонился, а Лесток лавировал, повинаясь своему верному инстинкту. Из Версаля маркизу советовали быть осторожнее. Наконец ему было властно приказано не делать признание императорского титула предметом столь сомнительного торга, так как само по себе это обстоятельство не было важно. «Король-император Франции», писали ему. Благоразумнее было «оказать любезность» царице, показав ей письмо короля. Может быть, она вследствие этого и заставит своего министра заключить столь желанный союз. Шетарди готов был повиниться, но ему предстояло одолеть еще одно препятствие: надо было по крайней мере на четверть часа «удержать внимание» государыни, и это ему не удавалось.

Между тем Бестужев готовил свой удар. С помощью чиновника иностранной коллегии Гольдбаха, опять-таки немца, а может быть и еврея, специалиста по чтению шифров, он перехватывал и перлюстрировал всю переписку французского посланника и наконец представил ее императрице, отметив места, относившиеся до нее лично. Де ла Шетарди жаловался на лень, легкомыслие государыни, на ее ужасную жажду удовольствий и кокетство, заставляющее ее менять туалет четыре-пять раз в день. Можно себе представить гнев Елизаветы! Последствия его известны. Шетарди упорно не представлял своих верительных грамот, и потому его пребывание в Петербурге не носило официального характера, он жил в нем частным человеком. Посредством простой записки из коллегии ему было сообщено приказание в двадцать четыре часа покинуть Петербург и Россию. Императрица повелела даже отобрать у него портрет на крышке осыпанной бриллиантами табакерки, пожалованной ему государыней! Табакерку ему оставили.

Не он один оказался замешанным в это дело. Его депеши открыли императрице глаза на участие принцессы Цербстской в неудавшейся интриге. Она оказалась в роли шпиона Пруссии и Франции при русском дворе, дающего советы Шетарди и Мардефельду, тайно переписывающегося с Фридрихом. Вот что обозначала загадочная сцена в Троицкой лавре!

Принцесса Цербстская отделалась лишь испугом, горькими истинами, которые ей пришлось выслушать от Елизаветы, и безвозвратной потерей не только того влияния, которое она мечтала приобрести при дворе, – тайные пружины его она только начинала постигать, – но и того, на которое она имела право рассчитывать. «Имя принцессы Цербстской», пишет год спустя преемник Шетарди д'Альон, – часто встречалось в перехваченных письмах маркиза де ла Шетарди. С тех пор императрица чувствует к ней сильную неприязнь... Для нее лучше всего было бы вернуться в Германию». Она так и сделала, но сперва ей удалось присутствовать при единственной победе, на которую она могла рассчитывать под этим небом, ставшим для нее столь немилостивым, – и той именно, которую она до того упустила из виду, что чуть ее не погубила.

VI

Личность Фигхен вышла чистой из этого кризиса. Наоборот, с этой минуты победа ее не подлежит сомнению, и брак с великим князем становится делом окончательно решенным, как будто ее невинность заставила ее противников и политических врагов сложить оружие. Оставалось решить еще один щекотливый вопрос – о торжественном принятии принцессы Софии в лоно православной церкви. Принцесса Цербстская последовала по мере возможности советам своего мужа. Она употребила все усилия, чтобы отстоять свою веру и веру своей дочери. Она даже осведомилась, не может ли прецедент супруги царевича Алексея, оставшейся лютеранкой, послужить на пользу Фигхен. Но все ее попытки в этом направлении остались бесплодными. Она, однако, скрасила свое сообщение об этом набожному Христиану-Августу некоторыми утешительными рассуждениями. Она просмотрела с Симеоном Тодорским весь православный символ веры, тщательно сравнила его с лютеранским вероисповеданием и пришла к убеждению, что между обеими религиями нет коренного различия. Фигхен же еще скорее поняла, что она может спастись и в православной вере. Гейнекий, очевидно, ошибался, а Мефодий во всем сходил с Лютером. Аргументы Симеона Тодорского оказались неопровержимыми. Этот архимандрит был очень ловок. Он много путешествовал и учился в университете в Галле. Христиан-Август, однако, поддался не сразу. «Добрый принц Цербстский, – писал впоследствии Фридрих, – упорствовал... На все мои убеждения он отвечал только: „Моя дочь не будет православной“. К счастью, в Берлине нашелся другой Симеон Тодорский. „Один пастор, – пишет Фридрих, – которого мне удалось привлечь на свою сторону... согласился убедить его, что православная вера похожа на лютеранскую. С тех пор он все повторял: „Лютеранско-греческая, греко-лютеранская – это одно и то же“. В июне месяце курьер, отправленный Елизаветой, привез официальное разрешение принца на брак принцессы Софии и ее обращение в православную веру. Добрый принц Христиан-Август писал, что видит перст Божий (eine Führung Gottes) в обстоятельствах, продиктовавших ему его решение.

Публичное исповедание веры было назначено на 28 июня, а обручение на 29 июня, день св. апостолов Петра и Павла. Близость этого обряда волновала Фигхен. Письма, в большом количестве получаемые ею от родных из Германии, не способствовали ее успокоению. Можно себе представить, какие обильные и разнородные комментарии вызвала столь неожиданная судьба маленькой принцессы в среде, в которой она жила до тех пор! Общий характер их не был благожелательным. Может быть, к опасениям, внушаемым, по-видимому, лишь нужной заботливостью, примешивалась и некоторая доля зависти. Припомина-

лась печальная судьба несчастной Шарлотты Брауншвейгской, супруги Алексея, покинутой мужем, забытой царем. Вообще, далекая Россия не сыграла ли роковой роли в истории всей этой немецкой семьи, также думавшей найти в ней прекрасную и великую будущность? Все это было изложено в длинных, путанных фразах немецким жаргоном, пестревшим французскими словами, в которых Фигхен подмечала гораздо больше досады, чем искренней тревоги. Но они, однако же, заставляли ее дрожать каждый раз, как она устремляла тревожный взор в загадочное будущее.

Однако никто из придворных, толпившихся 28 июня 1744 г. в десять часов утра в церкви Головинского дворца, не подозревал состояния ее души. Одета в платье «adrienne» из алого «gros de Tours», выложенного серебряным галуном, с простой белой лентой в ненапудренных волосах, Фигхен дышала молодостью, красотой и скромностью. Ее голос не дрогнул, память не изменила ей ни на секунду, когда она в присутствии умиленных слушателей произносила по-русски символ своей новой веры. Новгородский архиепископ, тот самый, что был против ее брака, пролил слезы, и все присутствующие сочли своим долгом последовать его примеру. Правда, они плакали и при обращении Петра-Ульриха, несмотря на то, что тот гримасничал во время богослужения и глумился над священнослужителями. Умиление, однако, входило в расписание подобных дней. Императрица выразила свое удовольствие тем, что подарила новообращенной аграф и бриллиантовое ожерелье стоимостью в 100 000 р., согласно оценке принцессы Цербстской.

Что бы сказал добрый Христиан-Август, если бы он слышал, как дочь его объявила перед лицом Бога и людей: «Верую и исповедую, что одна вера недостаточна для моего спасения»? Не потребовалось ли со стороны самой Фигхен некоторого усилия, чтобы произнести эти слова, окончательно отделявшие ее от ее прошлого? Лица, усмотревшие в данном случае влияние парижских философов на ее юный ум, ошиблись числами. По всей вероятности, будущий друг Вольтера в то время еще и не подозревала существования этого писателя. По выходе из церкви силы ей изменили, и она не могла присутствовать при обеде. Однако то не была уже ни Фигхен, ни принцесса София-Фредерика, что нетвердыми ногами переступила порог церкви, увешанной золотыми иконами. В тот же день на литургии впервые было провозглашено на ектенью прошение о «благочестивой Екатерине Алексеевне». Принцесса Цербстская объяснила мужу, что к имени София лишь присоединили имя Екатерина, «как то бывает при конфирмации». Слово «Алексеевна» обозначало, разумеется, «дочь Августа», что нельзя было перевести по-русски иначе, чем Алексеевна. Добрый Христиан удовольствовался этим объяснением: ему за последнее время вообще приходилось запастись большим доверием.

Обручение было совершено на следующий день в Успенском соборе. Принцесса Цербстская сама надела на пальцы Екатерины Алексеевны и ее будущего супруга два кольца, «ценою в 50 тысяч экю», писала она. Некоторые писатели, в том числе и Рюльер, утверждают, что Екатерина тут же получила и титул «наследницы престола», с правом наследования в случае смерти великого князя. Современные писатели оспаривают этот факт. Для такого постановления надо было бы издать манифест; его, однако ж, не существует. Будущая великая княгиня продолжала приводить всех в восторг совершенной грацией и тактичностью своего поведения. Даже ее мать заметила, что она краснела каждый раз, как согласно требованиям своего нового положения она принуждена была идти впереди своей матери. Однако принцесса не могла не заметить также, что ее дочь намерена была воспользоваться своим новым положением, чтобы избавиться от давно угнетавшей ее опеки. К тому же не одна Екатерина видела, что присутствие ее матери становилось тягостным и что в среде, где ей приходилось вращаться, принцессу Цербстскую не любили и смотрели на нее как на «чужую». Екатерина первый раз в жизни имела карманные деньги: Елизавета ей прислала 30 000 р. на «карточную игру», как тогда выражались. Эти деньги показали ей неистощи-

мым сокровищем. С первых же дней она почерпнула из них широко и с благородной целью. Ее брата только что послали в Гамбург, чтобы закончить образование. Она объявила, что принимает на себя расходы по его содержанию. У нее был свой двор, камергеры, камер-юнкеры; причем вообще весь штат был тщательно избран вне того кружка, который принцесса Цербстская вздумала было заставить служить своим интересам и интересам Фридриха. Таким образом матери пришлось испытать новое разочарование, и она не преминула лишний раз обнаружить свою бестактность тем, что открыто выражала неудовольствие. Своим несносным, придирчивым характером она окончательно оттолкнула всех от себя. Она ссорилась и с великим князем, который в размолвках с ней не стеснялся пускать в ход запас слов, набранных им в кордегардии.

Между тем Екатерина быстро освоилась с новым положением. Ей даже представился случай ближе познакомиться с обширными владениями, которыми ей суждено было впоследствии управлять. В сопровождении матери и великого князя она совершила то самое путешествие в Киев, которое возобновила через сорок лет с необычайной пышностью. Она сохранила об этой поездке неизгладимое впечатление, несомненно повлиявшее на склад ее ума и характер ее управления. Проехав около восьмисот верст, не покидая владений Елизаветы, видя на своем пути толпы народа, падавшие ниц перед всемогуществом императрицы, маленькая немецкая принцесса, привыкшая к ограниченному горизонту бедных немецких княжеств, чувствовала, как в душе ее зарождается и крепнет сознание беспредельного величия и могущества. Когда она стала императрицей, ей казалось, что она является воплощением этого величия и предназначена в силу его вознестись над всем миром. Вместе с тем, благодаря своей юной проницательности и верному взгляду, она подмечает и обратную, печальную и мрачную сторону этого ослепительного великолепия. В Петербурге и Москве она видела своими очарованными глазами лишь блещущий золотом трон, облитый бриллиантами двор, внешнюю декорацию императорского величия, заключавшегося в слегка варварской пышности и почти азиатской роскоши, – она очутилась теперь лицом к лицу с основой и источниками, питавшими это беспримерное великолепие: перед ее изумленными, а затем и испуганными глазами предстал русский народ – дикий, грязный, дрожащий от холода и голода в закопченных избах и несущий, как крест, двойное ярмо нищеты и рабства. Она угадывала, предчувствовала в этой ужасающей антитезе нужды и роскоши печальные недостатки в экономическом и социальном строе и невероятный произвол власти. В этом поверхностном обозрении коренятся все начатки преобразований, все благородные инстинкты и либеральные порывы, характеризующие первую половину ее царствования.

По возвращении в Москву ей пришлось ознакомиться и с другой оборотной стороной медали: мелкими неприятностями, неразлучными с ее высоким положением. Однажды вечером в комедии, сидя в ложе великого князя, напротив императрицы, она уловила гневный взгляд Елизаветы, направленный на нее. Вскоре услужливый Лесток, с которым государыня разговаривала, явился в ее ложу и сухо, резко, умышленно подчеркивая свою холодность, передал ей, что императрица на нее гневается, и объяснил почему. Екатерина в один месяц наделала долгов на 17 000 р.; все сокровище растаяло в ее руках, из которых впоследствии золотая река лилась на империю и на всю Европу. Но разве ей возможно было удовлетворяться тремя платьями, привезенными ею из Цербста? Ей приходилось даже заимствовать у своей матери. Затем она заметила, что при русском, как и при цербстском дворе, дружба подогревалась маленькими подарками и что в ее положении ей не оставалось другого средства для поддержания хороших отношений с окружающими. Даже великий князь питал особое пристрастие к этому способу сохранения добрых отношений с невестой. Наконец, графиня Румянцева очень своеобразно понимала свои обязанности гофмейстерины; она сама была очень расточительна и вовлекала в расточительность и Екатерину.

В своих «Записках», откуда мы заимствуем эти подробности, Екатерина строго осуждает окружавших ее в то время лиц, не исключая и великого князя; несмотря на ее щедрость, их взаимные отношения уже тогда не отличались сердечностью. Может быть, она поддалась искушению и сгустила краски в этом уголке картины. Следующая записка как будто подтверждает это предположение. Великий князь, заболевший в октябре плевритом, не покидал своих апартаментов и тяготился вынужденным затворничеством. Екатерина писала ему (мы сохраняем слог и орфографию подлинника): «Monsieur, ayant consulté ma Mère, sachant qu'elle pent beaucoup sur le grand-maréchal (Брюммер), elle m'a permis de lui en parler et de faire qu'on vous permettent de jouer sur les instrumens. Elle m'a aussy chargée de vous demander, Monseigneur, sy vous voulez quelques Italiens aujourd'hui après Midy. Je vous assure que je deviendray folle en Votre place s'y on m'otois tous. je vous prie au Nom De Dieu, ne lui montrez pas ces billets. Catherine».

Эта записка как будто обеляет саму принцессу Цербстскую от обвинений в дурном и вздорном характере, предъявляемых к ней даже ее дочерью. Два месяца спустя, в декабре, мы видим Екатерину в слезах, умоляющей пустить ее к жениху, заболевшему новой и ужасной болезнью. По дороге из Москвы в Петербург Петр принужден был остановиться в Хотилове, так как схватил оспу. Жених Елизаветы умер от оспы. Императрица отстранила Екатерину и ее мать, отослав их в Петербург, и сама принялась ухаживать за великим князем. Екатерине оставалось лишь писать ему очень нежные письма, в которых она впервые употребляет русский язык. Но это была лишь уловка, так как сочинял их Ададуров, а она их только списывала.

Вторичное пребывание Екатерины в Петербурге было отмечено приездом графа Гюлленборга, посланного шведским двором с известием о совершившемся браке наследника престола Адольфа-Фридриха, дяди Екатерины, с принцессой Ульрикой Прусской. Екатерина видела Гюлленборга еще в 1740 г. в Гамбурге. Он тогда уже заметил в ней философский склад ума. Он расспросил ее, как идут ее занятия, и посоветовал ей почитать Плутарха, жизнь Цицерона и «Причины величия и падения Римской империи» Монтескье. В свою очередь, Екатерина преподнесла ему свой портрет, «портрет философа в 16 лет», составленный ею самой. Она впоследствии отобрала у Гюлленборга подлинник и, к сожалению, сожгла его, а в бумагах графа Гюлленборга, сохранившихся в университете в Упсале, не осталось копии с него. В своих «Записках» Екатерина уверяет, что она сама изумилась, как глубоко и верно она себя понимала. Мы сожалеем, что не имеем возможности проверить ее суждение.

Петр вернулся в Петербург лишь в конце января. Кастера рассказывает, что, обняв великого князя и выказав живейшую радость при свидании, Екатерина вернулась к себе, лишилась чувств и ее три часа не могли привести в сознание. Оспа, действительно, не послужила к украшению великого князя. Рябинки на его лице и огромный парик на голове делали его почти неузнаваемым. Одна только принцесса Цербстская нашла, что он прекрасно выглядит, и тотчас же сообщила об этом мужу. Кастера, по всей вероятности, впал по обыкновению в преувеличение, а принцесса Цербстская, должно быть, вспомнила, что петербургская почта охотно знакомилась с содержанием доверяемых ей писем. Как бы то ни было, вскоре после возвращения великого князя начались приготовления к свадьбе.

VII

В России не бывало еще церемонии подобного рода. Брак царевича Алексея, сына Петра I, совершился в Торгау, в Саксонии, а до него наследники московского престола не были будущими императорами. Написали во Францию, где только что отпраздновали свадьбу дофина; справились и в Саксонии. Как из Версаля, так и из Дрездена пришли самые точные описания, даже рисунки, изображающие малейшие подробности торжества; их над-

лежало не только повторить, но и превзойти. Как только вскрылась Нева, стали приходить немецкие и английские пароходы, привозя экипажи, мебели, материи, ливреи, заказанные во всей Европе. Христиан-Август прислал несколько цербстских материй, вытканых золотом и серебром. Тогда, носили узорчатые шелка с золотыми и серебряными цветами на светлом фоне. Они вырабатывались в Англии и Цербсте, занимавшем, по отзыву знатоков, второе место в этом производстве.

День свадьбы, несколько раз отложенный, был окончательно назначен на 21 августа. Празднества должны были продолжаться до 30-го. Доктора великого князя требовали новой отсрочки, так как в марте Петр опять заболел. Казалось, что и целого года было мало для окончательного его выздоровления. Но Елизавета не желала больше ждать, ей, между прочим, хотелось скорей избавиться от матери Екатерины.

Вероятно, были и другие, более веские причины, заставлявшие ее торопиться. Ввиду слабого здоровья Петра престолонаследие было весьма шатко обеспечено, а память о маленьком Иоанне, заключенном в крепости, все еще тревожила умы. В июне 1745 г. в уборной Елизаветы был найден неизвестный человек с кинжалом в руке. Никакие пытки не могли вырвать у него ни одного слова.

Согласно довольно авторитетным показаниям, принцесса Иоанна-Елизавета продолжала обнаруживать свой несносный характер. Не было некрасивой истории, в которой бы она так или иначе не была замешана в последние недели своего пребывания в России. Она беспрестанно интригует и сплетничает. Она даже обвиняет свою дочь в том, что та имеет ночные свидания с великим князем. Императрица приказывает перехватывать и внимательно читать ее письма. Вместе с тем ей и в голову не приходит пригласить ее мужа на предстоящее торжество. Долгое время принцесса Цербстская сулила Христиану-Августу это приглашение, советуя ему быть к нему всегда готовым и откладывая его со дня на день, с месяца на месяц. Сам Фридрих, введенный в заблуждение Мардефельдом, поддерживал эту надежду в своем фельдмаршале. Наконец Иоанна-Елизавета принуждена была сознаться, что скорее подумывали о том, как бы отправить ее саму домой до торжества.

Из всей семьи на бракосочетании присутствовал лишь брат принцессы. Тут сказалось лукавство Бестужева. Август Голштинский был неуклюж, груб и убог умом и являлся неказистым родственником. Английский посланник Гиндфорд пишет в своих депешах, что он никогда не видывал кортежа, более великолепного, чем тот, что сопровождал Екатерину в Казанский собор. Церковный обряд начался в десять часов утра и кончился лишь в четыре часа пополудни. Православная церковь, по-видимому, добросовестно отпустила свои обязанности. В продолжение последующих десяти дней празднества шли непрерывной чередой. Балы, маскарады, обеды, ужины, итальянская опера, французская комедия, иллюминации, фейерверки – программа была полная. Принцесса Цербстская оставила нам любопытное описание самого интересного дня – дня бракосочетания:

«Бал продолжался всего полтора часа. Затем ее императорское величество направилась в брачные покои, предшествуемая церемониймейстерами, обер-гофмейстером ее двора, обер-гофмаршалом и обер-камергером двора великого князя; за ней шли новобрачные, держась за руку, я, мой брат, принцесса Гессенская, гофмейстерина, статс-дамы, камер-фрейлины, фрейлины. По прибытии в апартаменты, мужчины удалились тотчас же, как вошли все дамы, и двери закрылись. Молодой супруг прошел в комнату, где ему надлежало переодеться. Принялись раздевать новобрачную. Ее императорское величество сняла с нее корону; я уступила принцессе Гессенской честь одеть на нее сорочку, гофмейстерина надела на нее халат, а остальные дополнили ее великолепный домашний туалет.

«За исключением этой церемонии, – замечает принцесса Цербстская, – раздевание невесты берет здесь гораздо менее времени, чем у нас. Ни один мужчина не смеет войти с той минуты, как супруг вошел к себе, чтобы переодеться на ночь. Здесь не танцуют танца

с гирляндой и не раздают подвязок. Когда великая княгиня была готова, ее императорское величество прошла к великому князю, которого одевали обер-егермейстер граф Разумовский и мой брат. Императрица привела его к нам. Его одеяние было схоже с одеянием его супруги, но было менее красиво. Ее императорское величество преподала им свое благословение; они приняли его, стоя на коленях. Она их нежно поцеловала и оставила принцессу Гессенскую, графиню Румянцеву и меня, чтобы мы уложили их в кровать. Я попыталась было выразить ей свою благодарность, но она меня осмеяла».

Мы обязаны также перу Иоанны-Елизаветы описанием апартаментов, отведенных молодым супругам.

«Эти апартаменты состоят из четырех комнат, одна прекраснее другой. Богаче всех кабинет: он обтянут затканной серебром материей с великолепной шелковой вышивкой разных цветов; вся меблировка подходящая: стулья, шторы, занавеси. Спальня обтянута пунцовым, отливающим алым бархатом, вышитым серебряными выпуклыми столбиками и гирляндами; кровать вся покрыта им; вся меблировка подходящая. Она так красива, величественна, что нельзя смотреть на нее без восторга».

Торжества закончились особой церемонией, никогда уже более не повторявшейся. В последний раз был спуск на воду «Дедушки русского флота», ботика, построенного, согласно преданию, самим Петром Великим. Указом от 2 сентября 1724 г. Петр повелел спускать его каждый год 30 августа, а остальное время года сохранять в Александро-Невской лавре. После его смерти и ботик и указ были забыты. Елизавета вспомнила про них лишь в 1744 г. и повторила эту церемонию на следующий год по случаю бракосочетания своего племянника. Пришлось построить плот, чтобы поддерживать ботик, так как он уже не держался на воде. Елизавета торжественно вошла на него и поцеловала портрет своего отца, прикрепленный к мачте.

Через месяц принцесса Цербстская рассталась навсегда со своей дочерью и с русским двором. Прощаясь с императрицей, она бросилась к ее ногам, умоляя простить ей причиненные ею неприятности. Елизавета отвечала, что «говорить об этом слишком поздно и что если бы принцесса была всегда так скромна, это было бы гораздо лучше для всех». Описывая сцену прощания, сама Иоанна-Елизавета упоминает лишь о любезности императрицы, взаимных ласках и слезах, пролитых обеими сторонами. Как мы уже видели, придворные слезы дорого не стоили, и Иоанна-Елизавета, несмотря на свои неудачные политические интриги, все же была довольно дипломатична в своих писаниях.

В Риге ее ожидал страшный удар. Ее настигло письмо Елизаветы, поручавшее ей просить Берлинский двор о немедленном отзывании Мардефельда. Это являлось окончательным разрушением надежд, возложенных Фридрихом на посредничество принцессы и постоянно поддерживаемых ею. В день отъезда Иоанны-Елизаветы из Петербурга, 10 октября 1745 г., обнаружилось, что Фридрих подговаривал супруга принцессы Луизы-Ульрики и брата принцессы Цербстской, Адольфа-Фридриха Шведского, предъявить свои права на Голштинское герцогство. Фридрих находил, что владение этим герцогством несовместимо со владением российским престолом. Одновременно пришли вести об удаче прусского оружия на саксонской границе (при Соре, 30 сент.), и Государственный Совет, немедленно собравшийся, решил послать корпус на подмогу королю польскому, которому угрожало вторжение в его наследственные владения. С этой минуты присутствие в Петербурге Мардефельда, друга и политического союзника принцессы Цербстской и, следовательно, и ее брата, становилось немислимым.

Итак, Иоанне-Елизавете удалось без особого труда сделать свою дочь русской великой княгиней. На всех других пунктах, где она развернула свою неусыпную деятельность, поражение ее было полным. Мимоходом она вздумала было сделать своего мужа герцогом Курляндским, но и это ей не удалось.

Все же Екатерина оплакивала, и непритворными слезами, отъезд своей беспокойной матери. Она сама в этом признается. Иоанна-Елизавета во всяком случае была ее матерью и единственным лицом среди ее нового величия, в чьей привязанности она не могла сомневаться, хотя она и не доверяла ее советам. После ее отъезда вокруг Екатерины образовалась большая пустота. С этого же момента, в одиночестве, являющемся стихией сильных натур, началось настоящее воспитание будущей императрицы, – то воспитание, о котором не подумала мадемуазель Кардель.

Глава 3

Вторичное воспитание Екатерины

I

Несмотря на развитой не по летам ум, Екатерина все же была еще ребенком. Вопреки своему православному имени и официальному титулу, она оставалась лишь чужестранкой, благодаря случайности призванной в Россию и занявшей в ней высокое положение; ей приходилось еще много поработать, чтобы достигнуть уровня своей высокой судьбы. Если она сама и забыла это на время, – что, по-видимому, действительно до некоторой степени и случилось, – кто-то другой взял на себя труд ей это напомнить, и в довольно суровой форме. Достигнув цели, т. е. выйдя замуж, воспитанница мадемуазель Кардель как будто изменила свое прежнее безупречное поведение, заслужившее всеобщее одобрение. Даже «милостивые наставления» Христиана-Августа были как будто ею забыты. Она вскоре получила другие советы, и уже не столь отеческие.

10 и 11 мая 1746 г., через неполные девять месяцев после свадьбы, императрице были представлены к подписи два документа, касавшиеся великого князя и великой княгини. Видимая цель их заключалась в избрании и установлении правил поведения для двух «знатных особ», которых собирались назначить гофмейстером и гофмейстериной их императорских высочеств. Настоящая цель их была иная. В сущности, к Екатерине и ее супругу представляли настоящих воспитателей. Их, так сказать, возвращали к школьному возрасту. Под видом указания программы этого добавочного воспитания был составлен настоящий обвинительный акт против юной супружеской четы, своим поведением вызвавшей эту меру. Автором обвинительного акта, редактором обоих документов был сам Бестужев.

Произведение канцлера сохранилось для потомства. Оно изобилует поистине изумительными разоблачениями – до того изумительными, что они могли бы возбудить недоверие, если бы мы не имели возможность проконтролировать их «Записками» Екатерины. Она повторяет почти дословно все, что Бестужев говорит о жизни супругов в то время. В некоторых случаях Екатерина даже дополняет описание канцлера, и мы от нее же узнаём некоторые интимные подробности относительно ее самой. Посудите сами. «Знатная особа», призванная состоять при великом князе, должна будет, читаем мы в «инструкции», исправить некоторые непристойные привычки его императорского высочества, как, например, выливать за столом содержимое стакана на головы прислуги, говорить грубости и неприличные шутки лицам, имеющим честь быть приближенными к нему, и даже иностранцам, допущенным ко двору, публично гримасничать и коверкаться всем телом...

«Великий князь, – читаем мы в „Записках“, – занимался непостижимыми в его возрасте ребячествами... Он велел сделать театр марионеток в своей комнате; ничего глупее этого нельзя было придумать... Он проводил свое время буквально в обществе лакеев... Великий князь составил полк из всей своей свиты: придворные лакеи, егеря, садовники – все получили мушкеты; коридор служил им кордегардией... Великий князь бранил меня за чрезвычай-

чайную, по его мнению, набожность, в которую я вдавалась; но так как во время обедни ему не с кем было разговаривать, кроме меня, он перестал на меня дуться. Узнав, что я продолжаю постничать, он меня сильно выбранил...»

Как в том, так и в другом описании вырисовывается тот же силуэт невоспитанного и невежественного ребенка, обладающего порочными инстинктами.

Посмотрим теперь, какова была сама Екатерина. Канцлер формулировал против нее три главных обвинения: отсутствие усердия к православной вере; запрещенное ей вмешательство в государственные дела империи или герцогства Голштинского; чрезмерная фамильярность с молодыми вельможами, посещающими двор, с камер-юнкерами, даже с пажам и лакеями. По-видимому, последний пункт представляется наиболее важным. Это именно тот пункт, насчет которого Екатерина выразилась чрезвычайно ясно в своих «Записках», и эти объяснения не оставляют никакого сомнения насчет фамильярности, если не сказать более, отношений, установившихся между нею и по крайней мере тремя молодыми людьми, посещавшими двор, – тремя братьями Чернышевыми, высокими, стройными и пользовавшимися особой благосклонностью великого князя. Старший, Андрей, самый блестящий из всех, стал вскоре любимцем Петра, а впоследствии и Екатерины. Она ласково называла его «сыночек мой», а он ее «матушкой», что само по себе не заключало в себе ничего двусмысленного. Однако из этого вытекала близость, казавшаяся менее невинной. Петр не только ее допускал, но даже поощрял ее, нередко забывая самые элементарные приличия. Он во всем любил крайность, и его не смущало ни собственное неприличие, ни непристойность окружающих. Когда Екатерина была еще невеста, Андрею Чернышеву пришлось напомнить Петру, что ей суждено быть российской великой княгиней, а не госпожой Чернышевой. Петр расхохотался, услышав это замечание, показавшееся ему страшно забавным, и с тех пор стал звать молодого человека «женихом» Екатерины. Екатерина, со своей стороны, сознается, что она поставила себя в такое положение, что простой лакей, ее камердинер Тимофей Евреинов, решился предупредить ее об опасности, которой она подвергалась. Она, впрочем, утверждает, что действовала в полной невинности и неведении опасности. Тимофей предупредил также Чернышева, заболевшего, по его совету, на некоторое время. Это происходило на масленице 1746 г. В апреле, при обычном переезде двора из зимнего дворца в летний, Чернышев снова появляется и пытается проникнуть в спальню Екатерины; она заграждает ему дорогу, не подумав о том, чтобы закрыть дверь, что было бы благоразумнее. Держа дверь приотворенной, она продолжает разговор, казавшийся ей, по-видимому, интересным. Вдруг появляется Девьер, один из героев Семилетней войны, исполнявший обязанности камергера при дворе и, кажется, и шпиона. Он объявляет великой княгине, что великий князь просит ее к себе. На следующий день Чернышевы удалены от двора, и в тот же день появляется «знатная дама», призванная наблюдать за поведением Екатерины.

Это совпадение многозначительно!

Елизавета, впрочем, не ограничивается этой мерой. Она приказывает Екатерине и Петру говеть и поручает Симеону Тодорскому, теперь уже епископу псковскому, расспросить их насчет их отношений к Чернышевым.

Чернышевы арестованы и также подвергаются еще более настойчивому и, вероятно, не столь мягкому допросу. Но ни с той, ни с другой стороны признаний не последовало. Однако Екатерина упоминает о переписке с Андреем Чернышевым, которую она вела с ним даже во время его пребывания в тюрьме. Она ему писала; он отвечал; она давала ему поручения, и он их исполнял. Предположим, что и в этом случае она поступала невинно. Однако нам придется вскоре быть менее снисходительными к ней. Упреки страшного канцлера по адресу Екатерины касались еще и другой области, в которой он главным образом и намеревался возложить на нее ответственность. Прошло уже девять месяцев с того времени, как великая княгиня заняла роскошное супружеское ложе, столь подробно описанное ее матерью, а пре-

столонаследие все еще не было обеспечено. Лица, озабоченные будущностью империи, не имели даже возможности ухватиться за какую-нибудь надежду в этом направлении.

На ком лежала вина?

Инструкция, составленная Бестужевым для будущей воспитательницы Екатерины, ясно обнаруживает его личное мнение относительно этого вопроса. В целях обеспечения престолонаследия, великую княгиню надлежало побуждать, чтобы «она с своим супругом со всеудобьвымышленным добрым и приветливым поступком, его нраву угождением, уступлением, любовью, приятностью и горячестью обходилась и генерально все то употребляла, чем бы сердце его императорского высочества совершенно к себе привлечь, каким бы образом с ним в постоянном добром согласии жите».

Екатерина в своих «Записках» категорически восстает против этого обвинения:

«Если бы великий князь желал быть любимым, то относительно меня это вовсе было не трудно; я от природы была наклонна и привычна к исполнению своих обязанностей...»

Ее наклонности, действительно, впоследствии ясно обнаружились, и сомневаться насчет их не приходится. Но и Петр со своей стороны, несмотря на странности своего характера и темперамента, как будто вовсе не обнаруживал в этом отношении отвращения, несогласного с обычным порядком вещей.

Тотчас по приезде в Россию, четырнадцати лет от роду, он влюбился во фрейлину Лопухину. Затем другая фрейлина, Карп, пленяет его сердце, и Екатерине приходится выслушивать новые признания в пылкой любви к этой особе. В 1756 г. он поссорился с Шафировой и со знаменитой Воронцовой, с которой впоследствии снова сошелся, и влюбился в Теплову. Кроме того, ему к ужину приводят певичку-немку. Затем он ухаживал за некоей Седрапарре, принцессой Курляндской и другими красавицами. Следовательно, загадка так и остается загадкой. Не следует ли искать ее разрешения в одном любопытном документе, изданном лишь недавно и подтверждающем предшествующие показания, почитавшиеся до сих пор сомнительными.

«Великий князь, – пишет Шампо в донесении, составленном для Версальского двора в 1758 г., – сам того не подозревая, был неспособен производить детей, вследствие препятствия, устраняемого у восточных народов посредством обрезания, но почитаемого им неизлечимым. Великая княгиня, не любившая его и не проникнутая еще сознанием необходимости иметь наследников, не была этим опечалена».

Кастера пишет со своей стороны:

«Он (великий князь) так стыдился несчастья, поразившего его, что у него не хватало даже решимости признаться в нем, и великая княгиня, принимавшая его ласки с отвращением и бывшая в то время такой же неопытной, как и он, не подумала ни утешать его, ни побудить искать средства, чтобы вернуть его в ее объятия».

Время оправдало Екатерину и ее защитников. Она имела детей, и имела их, или сделала вид, что имела, от мужа. Надо сознаться, что меры, придуманные канцлером, были тут ни при чем.

Как бы ни были велики способности и заслуги канцлера, он в данном случае не выказал особой мудрости. Может быть, он лучше умел управлять большой империей, чем жизнью юной супружеской четы. Выбор воспитательницы, призванной заменить собою мадемуазель Кардель, был неудачен. Эта честь выпала на долю Марии Семеновны Чоглоковой; ей было всего двадцать четыре года; она была красива, добродетельна, любила мужа и имела детей, что, вероятно, вызвало доверие к ней императрицы и ее канцлера. Надлежало, чтобы великокняжеская чета имела всегда перед глазами назидательный пример добродетельных и любящих супругов. Увы, пример этот не привел к добру! Чоглокова была добродетельна, но неопытна. Екатерина ее невзлюбила, и она не сумела ни заставить уважать свой авторитет, ни установить действительный надзор за великой княгиней. Не было ничего легче, как

ее провести, и Екатерина с приближёнными стала с увлечением предаваться запрещенным удовольствиям и отыскивать поводы к ним. Муж Марии Семеновны находился в Вене, когда его жена была назначена на свой пост. Вернувшись в Петербург, он без памяти влюбился в одну из фрейлин великой княгини, Марию Кошелеву. Будучи влюблен, он вдвойне ослеп и старался затуманить глаза и своей жене. Вследствие этого у нее на глазах граф Кирилл Разумовский, брат фаворита императрицы, имел возможность ухаживать за великой княгиней, если и не слишком смело, то во всяком случае весьма упорно. Несколько месяцев спустя дела пошли еще хуже. Муж воспитательницы, изменив фрейлине, запыхал страстью к той, за которой его жена обязана была следить. Великий князь, со своей стороны, ухаживал за всеми фрейлинами и, таким образом, сближение, которое должна была произвести Чоглокова, не произошло, и исполнение ее задачи встретило еще большие затруднения.

Мысль обходиться с замужней женщиной, русской великой княгиней как с маленькой девочкой, была сама по себе несчастна, что и доказали последующие события. Екатерине было строго запрещено переписываться с кем бы то ни было, даже с отцом и матерью. Она должна была ограничиваться подписыванием писем, составляемых для нее в иностранной коллегии, т. е. в секретариате Бестужева. Это было равносильно приглашению Екатерины вести тайную переписку, столь часто практикуемую в то время. Она не преминула последовать этому приглашению. В это же самое время в Петербург приехал кавалер Мальтийского ордена итальянец Сакромозо.

В России давно уже не появлялось мальтийских кавалеров. Его очень чествовали; он был приглашен на все празднества и приемы, как официальные, так и интимные. Однажды, целуя руку великой княгини, он сунул ей записку: «От вашей матери», пробормотал он чуть слышно. Вместе с тем он сообщил ей, что музыкант великокняжеского оркестра, его соотечественник Ололио, возьмется передать ему ответ. Екатерина быстро спрятала записку в перчатку. Ей, вероятно, не впервые приходилось это делать. Сакромозо, впрочем, не обманул ее; письмо было действительно от ее матери. Написав ответ, она впервые стала прилежней следить за концертами своего мужа. Музыки она не любила. Указанное ей лицо, увидев, что она приближается, вполне естественно вытащило платок, оставив карман своего кафтана широко раскрытым. Екатерина бросила свою записку в этот импровизированный почтовый ящик, и с этой минуты переписка установилась и продолжалась во все время пребывания Сакромозо в Петербурге.

Вот каким образом случается, что сводятся к нулю и мудрость государственных мужей и мощь императрицы, когда они не считаются с другой мощью, именуемой молодостью, и с другой мудростью, предостерегающей от злоупотребления властью!

II

Приставив к Екатерине гувернантку, одновременно постарались отдалить от нее всех лиц, составлявших ее обычное общество и интимный кружок. Она приветствовала с радостью отъезд голштинца Брюммера, тем более что должность гофмаршала великокняжеского двора была замещена князем Репниным: «Это – любезнейший русский вельможа и умнейшая голова», писал о нем д'Альон. Сама Екатерина его очень ценила и питала к нему большое доверие. К несчастью, он недолго оставался на своем посту и был заменен хоть и влюбчивым; но нелюбезным Чоглоковым. Екатерина его терпеть не могла, и его любовь к ней не обезоружила ее. Вскоре поочередно исчезли все слуги великой княгини. Ее лишили даже любимой горничной-финляндки. Настала очередь и преданного Тимофея Евреинова, дававшего ей, однако, хорошие советы. Правда, он оказывал ей услуги, которые не всегда могли казаться таковыми в глазах других, например, он передал ей письмо от Андрея Чернышева,

проезжавшего через Москву, по дороге в Сибирь. Сам Тимофей был сослан в Казань, где был полицмейстером, а затем дослужился до чина полковника. Так делались тогда дела в России!

Он был честен и, по-видимому, не обогатился на своем посту, так как через шестнадцать лет, вскоре после своего вступления на престол, Екатерина писала Олсуфьеву: «Я тебе поручаю выбрать место, или, одним словом сказать, хлеба дать Андрею Чернышеву, генерал-адъютанту бывшего императора, да отставному полковнику Тимофею Евреинову... Au nom de Dieu, défaites-moi de leur prière; ils ont souffert pour moi autre fois et je leur laisse battre le pavé, faute de savoir quoi en faire».

Бестужев направил свои удары, главным образом, против иностранцев, состоявших при особах великого князя или великой княгини или пользовавшихся их доверием. 29 апреля 1747 г. д'Альон возвещал об отбытии в Германию Бредаля, «обер-егермейстера великого князя, как герцога Голштинского», Дюлешинкера, его камергера, племянника Брюммера, Крамса, его камердинера, «состоявшего при его высочестве с малолетства», Штелина, «учителя истории», и Бастьена, его егеря. Из иностранцев оставались при дворе лишь фельдмаршал Миних, не имевший никакого влияния, и Лесток, «поддерживаемый своим ланцетом, некоторыми понятными опасениями и знанием бесчисленного множества анекдотов».

Вокруг Екатерины образовывалась все бóльшая пустота. В июне 1746 г. посланник Фридриха, друг и советник ее матери, Мардефельд, принужден был окончательно покинуть свой пост. Два года спустя на придворном балу она хотела подойти к Лестоку, но он уклонился от разговора с ней. «Не подходите ко мне», прошептал он: «Я в подозрении», и добавил еще раз: «Не подходите!» Он был красен, глаза его блуждали, Екатерине показалось, что он был пьян. Это происходило в пятницу 11 ноября 1748 г.

В предыдущую среду был арестован один француз, по фамилии Шапуро, родственник Лестока и капитан Ингерманландского полка. Два дня спустя подобная же участь постигла и самого Лестока. Его обвиняли в том, что он вошел в тайные и невыгодные для России сношения с французским, прусским и шведским дворами. Его пытали, но он мужественно выдержал самые ужасные мучения, никого не выдал. Он целый год провел в тюрьме и наконец был сослан в Углич.

Эта катастрофа, вероятно, окончательно выяснила Екатерине цену политических начинаний, которые ее мать хотела ей оставить в наследство, и хрупкость их опорных пунктов. Она также ускорила дело перерождения и ассимиляции, инстинктивно начатое невестой Петра путем изучения языка своего нового отечества и поручения себя духовному руководству архимандрита Тодорского. Один русский писатель усмотрел характерный симптом быстрых успехов, достигнутых великой княгиней в этом направлении, комментируя на свой лад отрывок из «Записок», относящийся к этому времени. Заместитель Тимофея Евреинова, некий Шкурин, вздумал заниматься доносами и сплетнями насчет Екатерины; тогда она вышла в гардеробную, где он обыкновенно стоял, и изо всей силы дала ему пощечину, прибавив, что велит его высечь. Оказывается, поступок этот был чисто-русский, и немецкой принцессе и в голову не пришел бы подобный образ действия. Само собой разумеется, мы оставляем ответственность за это толкование на его авторе (Бильбасов).

С другой стороны, постоянная перемена окружавших ее лиц имела ту хорошую сторону, что Екатерина знакомилась со многими людьми и имела возможность изучать большое количество образчиков человечества; вместе с тем она принуждена была менять и свой образ действий применительно к разнообразным характерам, положениям и комбинациям. Она обязана этому если не знанием людей, которым она никогда не обладала, то по крайней мере приобретением гибкости и упругости характера, обнаруженной ею впоследствии, и не менее изумительным искусством пользоваться людьми, – дурными ли, хорошими ли, – попадавшимися ей под руку (она никогда не умела их выбирать), и извлекать из них все, на что они были способны.

Впрочем, не все навязанные ей перемены в ее штате были ей неприятны или стеснительны для нее. Шкурин оказался впоследствии преданным и скромным слугой, а обменяв немку Крузе, свою камер-фрау, на русскую Прасковью Никитичну Владиславову, Екатерина сделала очень выгодное и ценное приобретение. Прасковья не была только преданной служанкой; она более, чем кто-либо, поработала над ознакомлением будущей царицы с жизнью, которую ей суждено было отныне вести, и внутренним интимным бытом народа, которым она призвана была управлять. Она знала эту жизнь, темную во многих отношениях и недоступную, как закрытая книга: знала и прошлое, включая подробности, оттененные анекдотами, и настоящее, включая сюда и малейшие городские и придворные сплетни. Она в каждой семье помнила четыре-пять поколений и безошибочно перечисляла все родство: отца, мать, дедов, двоюродных братьев и сестер по мужской и женской, восходящей и нисходящей линиям. Она была тонка и находчива. Мы увидим ее впоследствии за делом. После мадемуазель Кардель она более всех потрудились над воспитанием Екатерины; первая подготовила в ней будущего друга философов, а вторая – «матушку государыню», столь близкую русским сердцам. Но, повторяем мы, настоящим воспитателем великой императрицы было одиночество, на которое обрекало ее равнодушие ее мужа и постепенное удаление всякой поддержки среди двора, создавшего ей на первых порах приятную жизнь и под блестящей внешностью не замедлившего оказывать ей всевозможные неприятности. Здесь уместно бросить беглый взгляд на эту среду, где протекли для нее долгие годы испытания, ожидания и борьбы, мужественно выдержанные ею до конца.

III

Россия восемнадцатого века – это здание, состоящее из одного только фасада. Это театральная декорация. Петр I поставил двор на европейскую ногу, и его преемники, в этом по крайней мере отношении, поддержали и развили его дело. Как в Петербурге, так и в Москве Елизавета была окружена всей пышностью и великолепием, свойственным и другим цивилизованным государствам. В ее дворцах мы видим целые анфилады зал, украшенных зеркалами, с мозаичными паркетами и потолками, разрисованными художниками. На ее празднествах толпятся придворные, одетые в шелка и бархат, разукрашенные золотом, осыпанные бриллиантами, дамы, одетые по последней моде, с напудренными волосами, нарумяненные и с пленительными мушками на уголках губ. У нее свита, штаты, камергеры, придворные дамы и лакеи – числом своим и роскошью мундиров не имеют себе равных в Европе. Согласно многим современным свидетелям, к которым некоторые русские писатели отнеслись слишком доверчиво, по нашему мнению, императорская резиденция в Петергофе превосходит великолепием Версаль. Чтобы составить себе суждение об этом, рассмотрим попристальнее в эту кажущуюся роскошь.

Во-первых, у нее есть одна ненадежная, непрочная сторона, в значительной мере лишающая ее ценности. Дворец ее величества, как и дворцы ее подданных, почти все деревянные. Когда они горят, что случается довольно часто, гибнут и все богатства, собранные в них, – драгоценная мебель, художественные предметы. Их строили вновь всегда поспешно и небрежно, не думая о том, чтобы придать им большую прочность. На глазах Екатерины в три часа сгорает московский дворец, имевший три версты в окружности. Елизавета повелела, чтобы его выстроили вновь в шесть недель, и приказание ее было исполнено. Можно себе представить, какова была постройка. Двери не закрываются, из окон дует, печи дымят. Архиерейский дом, в котором жила Екатерина после пожара, загорался три раза во время ее пребывания.

Вместе с тем в этих роскошных с внешней стороны дворцах не было и следа комфорта и удобства. Всюду великолепные приемные покои, чудесные бальные и банкетные залы;

а для жилья служили несколько узких комнат, лишенных света и воздуха. Половина Екатерины в летнем дворце в Петербурге выходила с одной стороны на Фонтанку, представлявшую тогда зловонную лужу, с другой – на маленький дворик. В Москве еще хуже. «Нас поместили, – пишет Екатерина, – в деревянном флигеле, выстроенном лишь осенью; вода текла со стен, и все помещение было страшно сыро. Этот флигель состоял из двух рядов комнат, по 5 или 6 больших комнат. Комнаты, выходившие на улицу, были отведены мне, остальные – великому князю. В моей уборной помещались мои девушки и горничные со своими прислужницами, так что их было семнадцать женщин в комнате с тремя большими окнами, но с одной только дверью, выходившей в мою спальню, чрез которую они и принуждены были проходить за всякого рода нуждами... Кроме того, столовая их помещалась в моей передней». В конце концов установился другой способ сообщения с внешним миром – посредством простой доски, прилаженной к окну и служившей лестницей. Как видите, до Версаля еще далеко!

Екатерине приходилось не раз сожалеть о своем скромном прежнем жилище, в соседстве с колокольней, в Штеттине, или вспоминать с восторгом замок своего дяди в Цербсте или бабушки в Гамбурге. То были грубые, но прочные и просторные каменные постройки, относившиеся еще к шестнадцатому веку. В отместку за неудобства, которые она претерпевала за кулисами декоративной пышности своего нового великолепного помещения, Екатерина написала следующие стихи, найденные впоследствии в ее бумагах:

Jean bâtit une maison
 Qui n'a ni rime, ni raison:
 L'hiver on y gèle tout roide,
 L'été ne la rend pas froide,
 Il y oublia l'escalier
 Puis le bâtit en espalier...

Дворцы Елизаветы были скверно выстроены и не лучше меблированы. Происходило это вследствие того, что принадлежность мебелировки к известному дому была тогда обычаем, неизвестным в России. Мебель была как бы принадлежностью лица и следовала за ним в его путешествиях. Это являлось как бы пережитком кочевой жизни восточных народов. Обивка, ковры, зеркала, кровати, столы, стулья, предметы роскоши и предметы необходимости переезжали вместе с двором из зимнего дворца в летний, оттуда в Петергоф и Москву. Конечно, много вещей ломалось и терялось в пути. Таким образом, получалось странное смешение роскоши и убожества. Ели на золотой посуде, поставленной на столе со сломанной ножкой. Среди *chef d'oeuvre*'ов французского и английского искусства не на чем было сидеть. В доме Чоглокова в Москве, где Екатерине пришлось жить некоторое время, не было вовсе мебели. Сама Елизавета нередко находилась в том же положении, но она ежедневно пила чай из чашки, привезенной по ее приказанию Румянцевым из Константинополя и стоившей 8 000 дукатов.

Этому материальному беспорядку, которым разрушалось величие внешней декорации, соответствовала в отношении нравственности какая-то внутренняя разнузданность, в которой, несмотря на внешнюю чрезвычайную пышность и утонченный этикет, поминутно утопало достоинство самого трона. Следующее происшествие, рассказанное нам Екатериной в своих «Записках», дает нам представление об этом. Незадолго до вмешательства Бестужева, послужившего поводом к вышеуказанным переменам в штате Екатерины и ее супруга, Петр совершил проступок, который, пожалуй, если и не вызвал, то по меньшей мере оправдал строгости канцлера и побудил императрицу их одобрить. Комната, где великий князь устроил свой театр марионеток, сообщалась дверью с одной из гостиных императрицы.

Когда вся половина была отдана молодой чете, дверь эту заперли. Елизавета велела поставить в этой гостиной обеденный стол и иногда обедала в ней с приближёнными. Обеды эти были интимные, и сервировка стола была такова, что можно было обходиться без слуг. Однажды Петр, услышав веселые голоса и звон чокающихся рюмок, вздумал просверлить несколько дырочек в двери. Посмотрев в щелку, он увидел за столом императрицу, обергермейстера Разумовского в халате и человек двенадцать придворных. Это зрелище показалось Петру чрезвычайно забавным и, не желая наслаждаться им в одиночестве, он позвал Екатерину. Она, однако ж, уклонилась от приглашения и даже дала почувствовать своему мужу всё неприличие и опасность подобного развлечения. Он не обратил на ее слова внимания и пригласил ее фрейлин, заставив их влезать на стулья и табуреты, чтобы лучше видеть, и устроив целый амфитеатр перед дверью, за которой выставлялось напоказ бесчестие его благодетельницы. Вскоре об этом узнали; императрица страшно разгневалась. Она даже напомнила своему племяннику, что у Петра I был тоже неблагодарный сын, а это было равносильно объявлению, что голова его держится на плечах не прочнее головы несчастного Алексея. Весь двор узнал об этом инциденте и, в свою очередь, над ним посмеялся.

Что касается Екатерины, она из него извлекла если не урок морали, чего, по-видимому, не случилось, то урок практической мудрости. Если и возле нее впоследствии сидели фавориты в халате, она все же устраивалась так, что их нельзя было видеть в дверную щелку. Она их или прятала, или заставляла толпу почитать их, создавая для них соответственные, величественные рамки. Она получила от Елизаветы и другие ценные указания. Она отказалась нарушить тайну интимных пиршеств, во время которых императрица позволяла себе забывать свое величие, но зато она присутствовала вскоре после отъезда принцессы Цербстской, 25 ноября, при парадном обеде, которым отмечался каждый год в день вступления на престол дочери Петра Великого. В большой зале Зимнего дворца стол был накрыт для 350 унтер-офицеров и солдат полка, который в тот день сопровождал Елизавету на завоевание своей короны. Императрица, в мундире капитана, в ботфортах, с саблей на боку и белым пером в шапке, сидела среди своих «камрадов». Придворные чины, высшие офицеры и иностранные министры сидели в соседней комнате. Екатерина, с ранних пор имея перед глазами это зрелище, задумывалась над ним и потому, вероятно, и сумела в нужный момент с такой грациозной развязностью надеть боевую одежду и, в свою очередь, возбудить энтузиазм и привлечь содействие этих же самых гренадер, также подготовленных уроками прошлого к смелым предприятиям.

Чаще всего великий князь был занят своими удовольствиями и любовными увлечениями, но иногда он вдруг возвращался к Екатерине. Эти минуты не были лучшими в ее жизни. В продолжение целой зимы он только и говорил с Екатериной, что о плане построить рядом со своей дачей дом, во всем похожий на капуцинский монастырь. Чтобы быть ему приятной, ей пришлось сто раз перерисовывать план этого здания. В этом не заключалось, однако, ее самое жестокое испытание. Присутствие великого князя влекло за собой и постоянное соседство своры собак, помещавшихся в супружеском апартаменте и распространявших невыносимый запах. Императрица запретила держать собак, и потому Петр вздумал спрятать их в общий альков, вследствие чего ночи Екатерины стали настоящим мучением. Днем лай и пронзительный визг нередко избиваемых собак не давал ей ни минуты покоя. Когда свора молчала, то Петр брал свою скрипку и ходил с ней из комнаты в комнату, стараясь производить возможно более шуму на своем инструменте. Он вообще любил шум. Кроме того, он все более и более обнаруживал пристрастие к спиртным напиткам. С 1753 г. он напивался «почти ежедневно». В этом отношении Елизавета не могла по понятным причинам накладывать на него узду. Изредка он возвращался к своим марионеткам. Однажды Екатерина нашла его стоящим в парадном мундире, в ботфортах и с обнаженной саблей посреди комнаты перед крысой, подвешенной под потолок. Оказалось, что несчастная крыса съела часо-

вого из крахмала, стоявшего перед картонной крепостью, и военный совет, собравшийся по всем правилам, приговорил ее к смертной казни.

Без сомнения, Екатерина, со своей могучей молодостью и страстностью своего темперамента, не выдержала бы испытаний подобной жизни, если бы она не приобрела некоторых привычек, дававших ей возможность иногда покидать печальный дом и нравственно отдыхать. Летом в Ораниенбауме она вставала с зарей и, быстро одевшись в мужской костюм, уезжала на охоту в сопровождении старого слуги. «Совсем близко на берегу моря была рыбацья лодка, мы шли через сад пешком, держа ружья на плече, и затем я, слуга, рыбак и собака садились в лодку, и я охотилась на уток, сидевших в камышах, окаймлявших море по обеим сторонам ораниенбаумского канала». Кроме охоты, другим поводом к частым отлучкам Екатерины служила верховая езда. Елизавета была сама страстной наездницей. Однако она сдерживала нарождавшееся увлечение Екатерины этим спортом. Великая княгиня в особенности любила ездить по-мужски на плоском седле с двумя стременами. Императрица усмотрела в этом одну из причин, препятствовавших ей иметь детей. Тогда Екатерина придумала снабдить свое седло особым приспособлением, позволявшим ей ездить по-дамски на глазах у Елизаветы и тотчас же переменить положение, как только лошадь уносила ее из виду. Юбка, разделенная надвое во всю длину, облегчала эту метаморфозу. Она брала уроки у наездника-немца, инструктора в кадетском корпусе, и за быстрые успехи получила почетные серебряные шпоры.

Она любила также танцы. Однажды вечером на одном из балов, которыми Елизавета, любившая движение и шум, увеселяла свой двор, великая княгиня поспорила с женой саксонского министра Арнгейма о том, кто скорее устанет. Она выиграла. Однако все эти развлечения не могли наполнить пустоту долгих зимних дней.

IV

Граф Гюлленборг посоветовал ей читать Плутарха и Монтескье. Графиня Головина утверждает в своих записках, оставшихся неизданными, что Лесток первый направил ее по этому пути, дав ей читать «Словарь» Бейля. Вряд ли Екатерина начала свое чтение со столь серьезного труда. Она сама, впрочем, сообщает нам некоторые подробности. «Первая моя книга была „Tiran le Blanc“. Она начала с романов, составлявших, несомненно, обычное чтение окружавших ее лиц. Она, по-видимому, прочла их много. Она не приводит их заглавий, но утверждает, что некоторые из них надоедали ей своими длиннотами. Можно из этого заключить, как то и сделал В. А. Бильбасов, что она прочла романы Лакальпренеда, мадемуазель де Скюдери, может быть, „Astrée“ и, вероятно, „Les amours pastorales de Daphnis et Chloé“. Чувственные описания, которые она в них нашла, и непристойность, не превзойденная и в наши дни, не способствовали ли развитию некоторых склонностей, державших ее впоследствии в своей власти? Это весьма возможно. Она узнала, какие уроки добрая соседка Ликсония преподавала Дафнису и как она сообщила их невинной Хлое; как „Дафнис сел возле нее и поцеловал ее и затем лег; Ликсония нашла, что он готов, приподняла его и скользнула под него...“ Перевод Амио сочинения Лонга имел тогда успех, о котором свидетельствует число его изданий, а отрывки вроде вышеприведенного не пугали даже самых „честных женщин“. Роман мадемуазель де Скюдери и явился протестом против слишком грубого реализма этой литературы, вплоть до того момента, когда реакция, вызванная им, в свою очередь пала под давлением скуки. Таким образом, история литературных эволюций является в общем ходе человеческих дел лишь вечным повторением одного и того же.

Хотя Екатерине и трудно было хвалиться сведениями, почерпнутыми ею из этого мутного источника, она все же извлекла из него огромную пользу – любовь к чтению вообще. Когда она оставила романы, наскучив ими или получив к ним отвращение, она уже научи-

лась читать и принялась за другие книги. Она читала много и без разбора, что попадалось под руку. Так, она ознакомилась с «Письмами» мадам де Севинье; они привели ее в восторг, она их проглотила, по собственному ее выражению; без сомнения, она там и почерпнула свое пристрастие к эпистолярному стилю, как отчасти и фамильярный отрывистый слог ее писем, отнюдь, однако, не напоминающих прелестную грацию образца. Она стала лишь немецкой Севинье, влагавшей в самые смелые полеты своего пера немного той немецкой тяжеловесности, от которой Гейне и Берне освободились лишь благодаря особому смешению рас.

После «Писем» мадам де Севинье настал черед Вольтера. Семнадцать лет спустя Екатерина писала фернейскому патриарху: «Могу вас уверить, что с тех пор, как я располагаю своим временем, т. е. с 1746 г., я многим вам обязана. До того я читала лишь романы, но случайно ваши сочинения попали мне в руки; с тех пор я их беспрестанно читаю, и не хотела уже читать хуже написанных книг». Память изменила императрице, когда она писала эти строки, так как в своих «Записках» она упоминает лишь об одном сочинении Вольтера, прочитанном ею в то время; она не помнит даже его названия; к тому же она не особенно льстила великому философу, говоря о прочитанных ею столь же хорошо написанных книгах. Какие же были эти книги? «Жизнь Генриха Великого» Перефикса; «История Германской империи» Барра и главным образом – Екатерина не стеснясь сознается, что находила в этом чтении особое удовольствие, – сочинения Брантома. Вольтеру не приходилось особенно гордиться этим сравнением, тем более что влияние Перефикса соперничало с его влиянием в уме августейшей читательницы. Генрих IV всегда остался в представлении Екатерины несравненным героем, великим королем и образцовым государем. Она заказала его бюст Фальконе. Она неоднократно выражала, – между прочим и в своих письмах к фернейскому патриарху, – свое сожаление, что ей не суждено было встретить на земле столь достойного удивления монарха. Но она надеялась, однако, что на том свете будет наслаждаться его обществом. Она полагает, что во время революции политика великого Генриха спасла бы Францию и монархию. Этим поклонением объясняется и ее снисходительность к некоторым слабостям и отклонениям от прямого пути, свойственным любовнику красавицы Габриэли, и спокойная уверенность, с какой она не считала их несовместимыми с саном государя и общим направлением великого царствования. По всей вероятности, строгие размышления Перефикса на этот счет не обладали для нее достаточной убедительностью; она прочла ведь у него следующие слова: «Для величия его памяти следовало бы пожелать, чтобы у него не было другого недостатка, кроме страсти к игре. Но другой его слабостью, гораздо более прискорбной в христианском государе, являлось его пристрастие к красивым женщинам». Она удовлетворилась лишь данным ей примером, оставив в стороне моральную его сторону.

Чтение Брантома, так «заинтересовавшего» ее, как она наивно выражается, оказало, вероятно, более прямое и сильное влияние на ход ее мыслей. От нее не ускользнуло суждение о Монтгомери, «который самым беспечным и небрежным образом исполнял свои обязанности, так как очень любил вино, игру и женщин; но верхом, в седле, он становился храбрейшим и достойнейшим военачальником». Она отметила и характеристику Иоанны II Неаполитанской и странные комментарии автора: «Эта королева пользовалась славой женщины развращенной и непостоянной; говорили, что она была постоянно в кого-нибудь влюблена и наслаждалась страстью различным образом и с несколькими мужчинами. Однако в великой и красивой королеве этот порок наименее предосудительный... Красивые и знатные дамы должны походить на солнце, разливающее свет и теплоту на всех, так что каждый его чувствует. Так и эти знатные красавицы должны расточать свою красоту всем, кто к ним пламенеет. Те красивые и знатные дамы, которые могут удовлетворить многих людей, благосклонностью ли, словами ли, красивыми лицами, общением, всякими сладостными изъяснениями и доказательствами или, что еще предпочтительнее, восхитительными действиями, те не

должны останавливаться на одной любви, но должны иметь их несколько: подобное непостоянство прекрасно и дозволено им».

После Брантома «Общая история Германии» Барра, вероятно, показалась Екатерине довольно неудобоваримой. Она пишет в «Записках», что читала по одному тому в неделю. Она как бы сознается, что у нее не хватило терпения прочесть все до конца, так как она упоминает лишь о девяти томах, тогда как их всего одиннадцать (в издании 1778 г.). Тем менее правдоподобно, что чтение этого сочинения повлияло неблагоприятно на ее отношение к Фридриху II и прусской политике. Фридрих II и его политика являются на сцену именно лишь в двух последних томах Барра. К тому же Екатерина познакомилась с этим сочинением в 1749 г., вскоре после его появления; поэтому, если ее предубеждение коренилось в нем, оно, очевидно, долгое время назревало и не проявлялось, так как еще в 1771 г., при первом разделе Польши, его нет и следа. Гораздо вероятнее, что Екатерина обязана была Барру своими первыми сведениями о германских делах, о силах и интересах, состоявших в борьбе между собой в великом германском организме, так как ее пребывание в Штеттине и Цербсте дало ей лишь самые смутные и несовершенные понятия о них.

Что касается «Словаря» Бейля, трудно себе представить, какое впечатление произвела подобная книга на читательницу двадцати двух – двадцати трех лет; первый том его она прочла в 1751 г. Екатерина уверяет, что она прочла целиком все четыре тома *in folio*, в которых этот предшественник энциклопедистов излагает результаты интеллектуальной культуры своей эпохи. Но, не зная ни греческого, ни латинского языка, она, по-видимому, должна была пропустить многочисленные цитаты, которые составляют у Бейля добрую половину его труда. Присоединим к ним еще четвертую часть, посвященную религиозным спорам и философским диссертациям, в которых она вряд ли что-нибудь поняла. Она, вероятно, лишь пробежала остальное, так как трудно читать словарь в обыкновенном смысле этого слова. Она, может быть, там и сям почерпнула кое-какие понятия, которыми и воспользовалась впоследствии. Доктрина о народовластии, смело выдвинутая автором, имела, по-видимому, некоторое, хотя и мимолетное, влияние на ее суждение и вдохновила ее первые законодательные попытки, хотя она и не сочла нужным «согласиться с Бейлем, что короли большие мошенники». Но все же ее поразила мысль, что «правила управления несовместимы с самой щепетильной честностью». К тому же она прониклась сознанием, что ни религиозная этика, ни ходячая мораль, ни катехизис Лютера, ни учение Симеона Тодорского, ни мудрые уроки m-lle Кардель и строгие принципы Христиана-Августа не выносили ни холодной критики такого философа, как Бейль, ни высокомерной оценки такого опытного человека, как Брантом, и что в глазах как того, так и другого не существовало ни вечных истин, ни абсолютных принципов.

Она была погружена в 1754 г. в подобные размышления, как давно ожидаемое событие прервало ее чтение, расстроило обычное, довольно монотонное течение ее жизни и внесло в эту жизнь значительные перемены. Она сделалась матерью.

V

Как случилось это событие? Вопрос этот кажется странным, однако ни один пункт во всей ее биографии не вызывал столько прений и споров. Не следует забывать, что прошло уже десять лет со свадьбы великой княгини, десять лет, в течение которых ее союз с Петром оставался бесплодным, а отношения супругов становились все холоднее. Письмо великого князя к жене, помещенное в приложении к русскому переводу «Записок» Екатерины и относящееся к 1746 г., довольно резко указывает на полный разрыв. Вот оно дословно:

«Madame,

Le vous prie de ne point vous incommoder cette nuit de dormir avec moi car il n'est plus le temps de me tromper, le lit a été trop étroit, après deux semaines de séparation de vous aujourd'hui après midi.

Votre
très infortuné
mari qui vous ne
daignerez jamais de
ce nom.
Peter».

Между тем, несмотря на уединенную жизнь и строгий надзор за ней, Екатерина подвергалась многочисленным искушениям и преследованиям, в которых ее добродетель находилась в постоянной опасности, и сама она, согласно выражению русского историка, была как бы погружена в атмосферу любви.

Она сама сознаётся в своих «Записках», что, не будучи, собственно говоря, красивой, она все же умела нравиться; в этом заключалась ее «сила». Она звала любовь и распространяла ее вокруг себя. Мы видели, как муж ее наставницы сам пал жертвой этой эпидемии. Она избегла, надо сказать, первых опасностей. Она не похитила у Марии Семеновны ласки ее мужа, но в этом мало заслуги с ее стороны, так как она находила его некрасивым, глупым и неуклюжим как телом, так и умом. Она смертельно скучала летом 1749 г., часть которого ей пришлось провести в имении Чоглоковых, Раеве. Она почти каждый день виделась с молодым графом Кириллом Разумовским (см. выше), соседом по имению, приезжавшим обедать и ужинать и возвращавшимся затем в Покровское, делая таким образом каждый раз верст шестьдесят. Двадцать лет спустя Екатерине вздумалось спросить его, что побуждало его приезжать каждый день и делить скуку великокняжеского двора, когда он имел возможность собирать в собственном своем доме лучшее московское общество. «Любовь», ответил он, не колеблясь ни секунды. – «Любовь? Но кого же вы могли любить в Раеве?» – «Вас». – Она расхохоталась. Ей это и в голову не приходило.

Дело не всегда обстояло так. Чоглоков был некрасив, Разумовский слишком скромн. Явились другие, не обладавшие ни недостатками одного, ни достоинствами другого. Во-первых, при дворе в 1761 г. появился снова Захар Чернышев, удаленный в 1745 г. Он находит, что Екатерина похорошела, и не стесняясь высказывает ей это. Она с удовольствием слушает его. Во время бала, когда по моде того времени гости обмениваются «девизами» – узенькими бумажками, на которых были написаны стихи, более или менее удачные, смотря по находчивости кондитера, он посылает ей любовную записку, полную страстных признаний. Эта игра ей нравится, и она с удовольствием ее продолжает. Он хочет проникнуть в ее комнату, намереваясь переодеться для этого лакеем, но она указывает ему на опасность этого предприятия, и они возвращаются к переписке посредством девизов.

Часть этой переписки нам известна. Она была издана без обозначения автора в виде образчика слога знатной дамы восемнадцатого века, состоящей в переписке со своим любовником. Содержание ее не оставляет сомнений в том, что Захар Чернышев имел право на это звание.

После Чернышевых наступает черед Салтыковых. Среди камергеров великокняжеского двора было два брата Салтыковых. Они принадлежали к одной из самых старинных и знатных русских фамилий. Отец их был генерал-адъютантом; мать их, рожденная княжна Голицына, в 1740 г. оказала Елизавете услуги, о которых принцесса Цербстская имела особые сведения. «Салтыкова пленяла целые семьи. Она делала больше. Она была красива и вела себя так странно, что лучше было бы, если бы ее поведение не стало известно потомству. Она ходила с одной из своих служанок в казармы, отдавалась солдатам, напивалась с ними, играла, проигрывала, давала им выигрывать... Все триста гренадеров, сопровождав-

ших ее величество, были ее любовниками». Старший брат, Петр, был обижен природой и мог, по мнению Екатерины, соперничать умом и красотой с Чоглоковым. Младший, Сергей, был «красив, как день». В 1762 г. ему было 26 лет и он был женат уже два года на фрейлине императрицы Матрене Павловне Балк. Это был брак по любви. В то время Екатерина заметила, что он за ней ухаживает. Она почти каждый день посещала Чоглокову, которая, будучи беременной и нездоровой, не выходила из дому. Неизменно встречая там Сергея Салтыкова, она догадалась, что он приходил не для хозяйки дома. По-видимому, она стала уже опытнее. Вскоре, впрочем, Салтыков окончательно открыл ей глаза на этот счет. Надзор Чоглоковой ослабел к тому времени. Он придумал способ обезвредить и ее мужа, который, будучи сам влюблен в великую княгиню, мог быть стеснительнее. Он открыл в нем необыкновенный талант к стихотворству. Добрый Чоглоков был этим очень польщен и, сидя в углу, писал стихи на темы, которые ему давали без конца. В это время остальные разговаривали не стесняясь. Красавец Сергей был не только самый красивый человек при дворе, но и человек находчивый: «настоящий демон интриги», говорила Екатерина. Она молча выслушала его первое признание, не намереваясь, вероятно, прекратить его дальнейшие излияния. Она, наконец, спросила, чего он от нее хочет. Он описал самыми яркими красками счастье, которого он ожидает от нее. «А ваша жена?» спросила она. Это почти равнялось признанию и сводило расстояние, разделявшее их, к очень хрупкому препятствию. Он этим не смутился и решительно выбросил за борт бедную Матрену Павловну, объявив, что то было лишь юношеское увлечение, ошибка, и рассказав, как скоро «это золото превратилось в простой свинец». Екатерина уверяет, однако, что она сделала все, что могла, чтобы отвлечь его, намекнув даже, что он опоздал.

«Почему вы знаете? Может быть, мое сердце уже занято?» Средство это было неудачно выбрано. На самом же деле, как Екатерина сама сознается, главное препятствие к избавлению от красивого соблазнителя, заключалось в том, что он ей сильно нравился. Однажды Чоглоков устроил охоту, во время которой представился случай, давно поджидаемый Сергеем. Они остались вдвоем в продолжение полутора часов; чтобы положить конец этому свиданию, Екатерине пришлось прибегнуть к героическим средствам. Эта сцена прелестно описана в «Записках»! Перед тем, как удалиться, Салтыков хотел заставить ее признаться, что она к нему равнодушна. «Да, да, но только уходите!» – «Хорошо, слово дано!» – воскликнул он и прищипорил лошадь. Она хотела вернуть роковое слово и крикнула ему вслед: «нет, нет!» Он отвечал: «да, да!» На этом они расстались, чтобы вскоре снова сойтись.

Спустя некоторое время Сергею Салтыкову пришлось покинуть двор. Распространились слухи о его отношениях к великой княгине, вызвавшие вмешательство Елизаветы. Императрица сильно выбранила Чоглоковых, и Сергею велено было поехать на один месяц в отпуск, к родным в деревню. Он заболел, вернулся лишь в феврале 1753 г. и тотчас снова вступил в интимный кружок, образовавшийся вокруг Екатерины, где первые места были отведены молодым людям и в котором часто появлялся другой родовитый и красивый кавалер, Лев Нарышкин. Он уже играл ту роль шута, которую продолжал играть и в лучшие дни будущего царствования, но в то время не ограничивал ею своего честолюбия. Екатерина была в то время в самых лучших отношениях с обоими Чоглоковыми. Она сумела привязать к себе жену, доказав ей, что отвергает ухаживание мужа, и сделать из последнего раба себе, ловко поддерживая его надежды. Она могла надеяться на их доверие и скромность. Из осторожности ли, или вследствие природного непостоянства, Сергей был теперь более сдержан, так что роли переменялись, и Екатерине приходилось сетовать на его холодность. Однако вскоре новое и на этот раз совершенно неожиданное вмешательство верховной власти дало другое направление второй главе этого устаревшего уже романа. Трудно рассказать это происшествие; еще труднее было бы считать его действительно совершившимся, не будь свидетельства самой Екатерины. В каких-нибудь несколько дней Салтыков был призван к Бес-

тужеву, а Екатерина имела разговор с Чоглоковой, и оба слышали насчет занимавшего их предмета удивившее их откровение. Говоря, по-видимому, от имени императрицы, воспитательница, оберегавшая добродетель великой княгини и честь ее супруга, объяснила молодой женщине, что бывают случаи, когда государственные соображения должны одержать верх над всякими другими, даже над законным желанием супруги остаться верной мужу, если последний не в состоянии обеспечить спокойствие империи в вопросе о престолонаследии.

В заключение Екатерине было категорически предложено выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным, причем Чоглокова была убеждена, что Екатерина предпочтет последнего. Она запротестовала. «В таком случае, другой», объявила воспитательница. — Екатерина промолчала с большой сдержанностью. Бестужев говорил в том же смысле и с Сергеем Салтыковым.

Между тем Екатерина забеременела три раза подряд и после двух выкидышей родила, наконец, сына 20 сентября 1764 г. Кто был отцом этого ребенка? Теперь уже понятно, почему вопрос этот вполне уместен. Вот как он разрешен в одном документе, существенные части которого, относящиеся до этого пункта истории, еще не были изданы. Это записка Шампо, уже цитированная нами:

«Великая княгиня, увлекаемая тайным расположением, слушала его (Салтыкова) и убеждала его победить свою страсть. Однажды разговор был очень оживлен. Салтыков говорил... ей со всей страстью, которая его одушевляла; она отвечала ему горячо, умилилась, была тронута и, расставаясь с ним, сказала стих Максима, обращенный к Ксифару:

«Et méritez les pleurs que vous m'allez coûter».

«... Двор переселился в Петергоф; великокняжеская чета последовала за императрицей. Несколько раз устраивались охоты. Великая княгиня, ссылаясь на нездоровье, большею частью в них не участвовала. Салтыков под благовидными предлогами заручился позволением великого князя не сопровождать его. *Он проводил все свое время с великой княгиней и сумел воспользоваться благоприятным для него расположением, которое ему дали почувствовать.* Салтыков, первое время находивший для себя большое счастье в том, что *обладал предметом своих мыслей, вскоре понял, что вернее было разделить его с великим князем, недуг которого был, как он знал, излечим.* Однако опасно было действовать в подобном деле без согласия императрицы. Благодаря случаю, события повернулись самым лучшим образом. Однажды весь двор присутствовал на большом балу; императрица, проходя мимо беременной Нарышкиной, свояченицы Салтыкова, разговаривавшей с Салтыковым, сказала ей, что ей следовало бы передать немного своей добродетели великой княгине. Нарышкина ответила ей, что это, может быть, и не так трудно сделать, и что если государыня разрешит ей и Салтыкову позаботиться об этом, она осмелится утверждать, что это им удастся. Императрица попросила разъяснений. Нарышкина объяснила ей недостаток великого князя и сказала, что его можно устранить. Она добавила, что Салтыков пользуется его доверием и что ему удастся на это его склонить. Императрица не только согласилась на это, но дала понять, что этим он оказал бы большую услугу. Салтыков тотчас же стал придумывать способ убедить великого князя сделать все, что было нужно, чтобы иметь наследников. Он разъяснил ему политические причины, которые должны бы были его к тому побудить. Он также описал ему и совсем новое ощущение наслаждения и добился того, что тот стал колебаться. В тот же день Салтыков устроил ужин, пригласив на него всех лиц, которых великий князь охотно видал, и в веселую минуту все обступили великого князя и просили его согласиться на их просьбы. Тут же вошел Бургав с хирургом, — и в одну минуту операция была сделана и отлично удалась. Салтыков получил по этому случаю от императрицы великолепный бриллиант. Это событие, которое, как думал Салтыков, «обеспечивало

и его счастье и его фавор», навлекло на него бурю, чуть не погубившую его... *Стали много говорить о его связи с великой княгиней. Этим воспользовались, чтобы повредить ему в глазах императрицы... Ей внушили, что операция была лишь уловкой, имевшей целью придать другую окраску одной случайности, которую хотели приписать великому князю. Эти злобные толки произвели большое впечатление на императрицу. Она как будто вспомнила, что Салтыков не заметил влечения, которое она к нему питала. Его враги сделали больше; они обратились к великому князю и возбудили и в нем такие же подозрения».*

Затем в своем сообщении Шампо рассказывает о разных очень сложных интригах. Императрица и великий князь несколько раз меняли мнение и в конце концов оправдали счастливого любовника. Одно время в дело втягивается Екатерина.

«В первые минуты своего неудовольствия на Салтыкова, вместо того чтобы поберечь великую княгиню, императрица сказала в присутствии нескольких лиц, что она знала, что происходило до тех пор, и что когда великий князь выздоровеет и будет в состоянии иметь общение с женой, она желает получить доказательства того положения, в каком великая княгиня должна была остаться до этого времени».

Предупрежденная бдительными друзьями, Екатерина протестовала с негодованием и уредила Елизавету. Впоследствии великий князь довершил оправдание своей супруги, представив неопровержимые доказательства ее правоты.

«Между тем наступило время, когда великий князь мог вступить в общение с великой княгиней. Уязвленный словами императрицы, он решил удовлетворить ее любознательность насчет подробностей, которые она желала знать, и наутро той ночи, когда брак был фактически осуществлен, он послал императрице в запечатанной собственноручно шкатулке то доказательство добродетели великой княгини, которое она желала иметь... Связь великой княгини с Салтыковым не нарушилась этим событием, и она продолжалась еще восемь лет, отличаясь прежней пылкостью...»

Записка Шампо была послана в ноябре 1758 г. из Версаля в Петербург, в качестве дополнительной инструкции маркизу Лопиталю, оценившему ее следующим образом:

«Я внимательно и с удовольствием прочел первый том трагикомической истории, или романа замужества и приключений великой княгини. Содержание его заключает некоторую долю истины, приукрашенной слогом; но при ближайшем рассмотрении герой и героиня уменьшают интерес, который их имена придают этим приключениям. Салтыков – человек пустой и русский *petit-maitre*, т. е. человек невежественный и недостойный. Великая княгиня его терпеть не может, и всё, что говорят об ее переписке с Салтыковым, – лишь хвастовство и ложь».

Правда, в то время Екатерина уже познакомилась с Понятовским и, как утверждает опять-таки Лопиталь, «познала разницу между ними».

Однако повествование французского дипломата противоречит в некоторых подробностях тому, что сама Екатерина сообщает в своих «Записках», а все, что нам известно об этом щекотливом вопросе из других источников, способствует затемнению его. Физически и нравственно, в особенности нравственно, Павел походил на своего законного отца. Однако почти никто из современников не допускал гипотезы, что именно Петр был его отцом. В то время ходили даже другие предположения. «Этот ребенок, – писал однажды Лопиталь, – сын самой императрицы (Елизаветы), которого она подменила на сына великой княгини». В следующей депеше, однако, маркиз, объявляя себя лучше осведомленным, подвергал сомнению эту первую версию; но сама Елизавета много способствовала ее возникновению, и ее поведение во время родов великой княгини немало повлияло на распространение этих слухов. Едва только ребенок увидел свет, как императрица велела его наскоро выкупать и наречь имя Павел, приказала унести его и сама ушла вслед за ним. Екатерина увидела своего сына лишь через шесть недель. Ее оставили вдвоем с горничной, не озаботившись даже о самом

необходимом уходе за ней. Казалось, что она вдруг стала совершенно безразличным для всех существом и что ее не ставили уже ни во что. Родильная постель находилась между дверью и двумя огромными окнами, из которых дуло нестерпимо. Екатерина сильно потела и хотела перейти на свою постель. Владиславова не посмела исполнить ее желания. Екатерина попросила пить. Ответ был тот же. Наконец через три часа появилась графиня Шувалова и оказала ей некоторую помощь. Ни в тот день, ни на следующий она никого не видала.

Великий князь пировал со своими друзьями в соседней комнате. После крестин ребенка его матери принесли на золотом подносе указ императрицы, подарившей ей 100 000 рублей и несколько драгоценностей. Ей платили за ее труды. Драгоценности были не особенно богаты. Екатерина уверяла, что ей стыдно было бы подарить их своей камер-фрау. Деньгам она обрадовалась, так как у нее было много долгов. Но радость ее была непродолжительна. Несколько дней спустя кабинет-секретарь барон Черкасов умолял ее дать ему эти 100 000. Императрица приказала отпустить еще такую же сумму, а в кассе не было «ни копейки». Екатерина узнала, что это была проделка ее мужа. Узнав, что она получила 100 000 р., Петр пришел в ярость. Ему ничего не дали, а между тем он претендовал по меньшей мере на равные права на щедрость императрицы. Чтобы успокоить его, Елизавета, которой ничего не стоило подписать свое имя, приказала выдать и ему такую же сумму, не заботясь о затруднительном положении казначея. Спустя шесть недель «очищение» великой княгини было отпраздновано с большой пышностью, и в этот день ей была оказана милость: ей показали ее ребенка. Она нашла его красивым. Во время обряда ей его оставили, а затем опять отняли. Одновременно она узнала, что Сергея Салтыкова отправили в Швецию с известием о рождении великого князя. В те времена для вельможи, занимавшего при русском дворе положение Сергея Салтыкова, подобное поручение не являлось знаком милости. Большей частью эта была высшая полицейская мера, если не опала или наказание. С этой точки зрения отъезд молодого камергера был также знаменателен.

Не будем останавливаться дальше на этом вопросе. Эта историческая тяжба, касающаяся вопроса о спорных родительских правах, на наш взгляд, является лишь второстепенной. Что касается Екатерины, единственным действительно важным пунктом для истории умственного и нравственного ее развития, т. е. для этого нашего труда, является бесспорное присутствие Сергея Салтыкова у колыбели ее первого ребенка со Львом Нарышкиным, Захаром Чернышевым и, может быть, и другими на заднем плане. Перед нами встает ее, так сказать, неполное материнство, подвергавшееся возмутительным подозрениям со стороны общества, жестоко урезанное злоупотреблением власти, похожим на похищение. Что-то подозрительное скрывалось под мантией этикета, попирающего самые естественные права и обязанности; наконец, нас поражает самое полное и более чем когда-либо болезненное пренебрежение и одиночество, в которое впадает молодая мать и молодая супруга между пустой колыбелью и давно опустевшим супружеским ложем.

VI

Будь Екатерина обыкновенной женщиной, подобное существование в результате прибавило бы лишь одну или две лишних главы к скандальной хронике восемнадцатого века. Сергей Салтыков имел бы преемника, а великий князь имел бы все новые поводы сомневаться в добродетели своей жены. Но Екатерина не была обыкновенной женщиной, что она неоднократно доказала впоследствии. Она не принадлежала и к числу мучениц и супругов, верных вопреки всему своему семейному очагу. После Салтыкова были другие; она даже окончательно, бесповоротно пошла по пути, приведшему к самым колоссальным и циничным проявлениям разврата, записанным современной историей; но она не вся погрузилась в него. Отдавая свое тело, честь и добродетель постоянно возобновляемым развлечениям

и наслаждениям, разжигавшим в ней все возрастающую страстность, она вместе с тем не забыла малодушно ни своего положения, ни своего пробудившегося уже честолюбия, ни своего превосходства, которому суждено было засиять в близком будущем. Она ни от чего не отрекалась. Наоборот, она ушла в себя и занялась культурой своего я, приспособлением своего ума и характера к смутно предугадываемой судьбе, первые шаги которой нами уже отмечены.

В это время она более деятельно принимается за изучение русской литературы и русского языка. Она читает все русские книги, которые может достать. Они, без сомнения, дают ей представление об очень низком умственном уровне. Она не может даже припомнить ни одного заглавия прочитанных книг, кроме русского перевода двух томов «Анналов» Барония. Но она выносит из этого убеждение, никогда не покидавшее ее, наложившее на ее будущее царствование совершенно определенный отпечаток и сделавшее его продолжением царствования Петра Великого, а именно, убеждение в том, что ее новому отечеству необходимо учиться у Запада, чтобы наверстать отдаленное его от Европы расстояние и стать на уровне недавно приобретенного положения в Европе.

Вместе с тем она серьезно и плодотворно принимается за серьезное чтение. Несмотря на советы Гюлленборга, она все еще не прочла «*Les Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains*». Она знакомится с Монтескье, читая «*Esprit des lois*», затем берется за «*Анналы*» Тацита и «*Всеобщую историю*», как она говорит, а вернее – «*Essai sur les mœurs et l'esprit des nations*» Вольтера.

Тацит пленяет ее реальностью картин, которые он рисует, и поразительной аналогией с окружающими ее людьми. При всем различии между эпохами и обстоятельствами, она познает неподвижность, неизменяемость некоторых типов, которые входят в состав человечества, и законов, которым оно повинует. Она видит повторение тех же черт характера, тех же инстинктов, страстей, тех же комбинаций и тех же формул правлений, производящих те же результаты. Она научается распознавать сплетение пружин этих элементов, столь различно соединяющихся и все же столь одинаковых, вникать в их интимную механику и распознавать им цену. Ее холодный, сухой ум, – философский, по определению шведского дипломата, – отлично применяется к отвлеченным безличным суждениям о событиях и их причинах, присущим латинскому историку, к его манере реять подобно орлу над человечеством, которое он как бы наблюдает в качестве постороннего зрителя.

Однако Монтескье ее больше привлекает и удовлетворяет. Он, действительно, не ограничивается тем, что представляет факты, он выделяет и их теоретический смысл и дает ей готовые формулы. Она жадно завладевает ими и делает их своим молитвенником – «*bréviaire*», по ее собственному живописному выражению. Она объявляет впоследствии, что «*Esprit des lois*» должно быть «настойной книгой всякого государя, одаренного здравым смыслом». Впрочем, это вовсе не значит, что она ее понимает. В общем, Монтескье был в течение доброй половины восемнадцатого столетия писателем, которого более всего читали и менее всего понимали. У него все черпали мысли и теории, между прочими и Екатерина. Их даже применяли в отдельности, но мало кто был способен обнять всю доктрину во всей ее полноте и усвоить ее дух. Никто даже и не думал применять ее целиком, *en bloc*, как говорят теперь. Это повело бы, – может быть, и сам автор «*Esprit des lois*» не отдавал себе в этом отчета, – к полному перевороту в существующем политическом и социальном режиме и к гораздо более радикальной революции, чем та, которая ознаменовала собой конец века. Его доктрина была направлена против самой основы разбираемых им пороков в организации человеческих обществ, отмеченных им злоупотреблений и предугаданных им катастроф. А устранить основу было равносильно не только уничтожению того или другого установления или способа управления – но и устранению самой идеи, главной идеи, управлявшей миром и призванной, может быть, управлять им вечно; это означало заменить идеальным и, может

быть, неосуществимым равновесием естественных сил жестокою и непрерывную борьбу интересов и страстей, составлявшую во все времена человеческую жизнь и являющуюся, может быть, и самую сущностью жизни!

Екатерина не поняла всего этого. Но она приписала себе «республиканскую душу», подобную Монтескье, не заботясь о том, чему отвечает подобное состояние души по понятиям знаменитого писателя, не отдавая себе также отчета в том, какое значение она имела, для нее самой. Эта мысль ей нравилась, как она нравилась многим ее современникам; она приняла ее, как перо или цветок, бывшие в моде. К этому присоединилось и некоторое предупреждение против злоупотреблений деспотизма, сознание необходимости заменить в поведении людей внушения личного каприза велениями общего разума и каким-то смутным либерализмом. Впоследствии Екатерине суждено было удивить весь мир революционной смелостью идей, высказанных ею перед всей Европой и перед своей страной в официальном документе. Она списала их с Монтескье и с Беккария, не всегда понимая их смысл. Когда он открылся ей при переходе от теории к практике, она, конечно, отступила. Но все же она продолжала управлять разумно и даже до некоторой степени либерально. Монтескье все же сделал свое дело.

Она сразу поняла, благодаря своей рассудительности и непогрешимому здравому смыслу, которым ее наградила природа, что существует явное и, по-видимому, несогласуемое противоречие между ненавистью к деспотизму и положению деспота. Это открытие, вероятно, было для нее стеснительно, ввиду уже присущих ей властных инстинктов. Оно ее посорило впоследствии с философией, или по крайней мере с некоторыми философами. Между тем нашелся человек, который доказал ей, что пугающее ее различие несущественно; этот человек – опять-таки философ – Вольтер. Без сомнения, введение каприза в управление человеческими судьбами является ошибкой и может стать преступлением; безусловно, мир должен быть управляем разумом; но кто-нибудь должен же олицетворять его на земле! С установлением этого положения формула вытекает сама собой: деспотический образ правления может быть самым лучшим управлением, допускаемым на земле; это даже самое лучшее управление при условии, что оно разумно. Что же для этого надо? Чтобы оно было просвещенное. Вся политическая доктрина автора «*Dictionnaire philosophique*» заключается в этом; и этим же объясняется его искренний – что бы там ни говорили – восторг перед северной Семирамидой. Екатерина осуществила формулу: она просветилась в лучах философии Вольтера, она управляет разумно, она сам разум, призванный управлять сорока миллионами людей; она – божество, прототип тех богов, которых странное умственное уродство и разнужданное воображение посадило впоследствии на алтари, оскверненные революционной оргией.

Вот почему и Вольтер стал любимым писателем Екатерины. Она нашла в нем учителя, верховного руководителя ее совести и мысли. Он учит ее, не запугивая, согласуя мысли, которые он ей внушает, с ее страстями. Вместе с тем он обладает для всех зол человеческих, указанных Монтескье и оплакиваемых и им самим, простыми лекарствами, доступными всем, легко применимыми, так сказать, бабьими средствами. Монтескье великий ученый, опирающийся на общие тезисы. Если его слушать, надо было бы начать все с начала и все изменить. Вольтер – гениальный эмпирик. Он перебирает поочередно все раны на человеческом теле и берется их излечить. Тут смазать бальзамом, там прижечь – и больной совершенно здоров. И какая ясность языка, мысли, сколько ума! Екатерина восхищена, как и большинство ее современников; она ослеплена, зачарована этим великим волшебником в искусстве писать и подобно всем очарована как его качествами, так и недостатками; пожалуй, даже больше его недостатками, т. е. некоторой поверхностностью в его понимании вещей, иногда даже легковесностью умозаключений, несправедливостью в суждениях и, кроме того, неуважительностью, антирелигиозностью и непристойностью его нападок

на установившиеся предрассудки, в которых отражались не одни только философские тенденции данного времени и жажда освобождения, встряхнувшая современную ему мысль. Если Вольтер и не помог Екатерине променять свою лютеранскую веру на православную, он, вероятно, впоследствии все же облегчил ей воспоминание этого двусмысленного шага и избавил ее если не от раскаяния, то по крайней мере от некоторой неловкости, ощущаемой ее совестью; вместе с тем он, вероятно, успокоил ее насчет значения некоторых других сделок со строгой моралью всех катехизисов, как православных, так и лютеранских. Его свободомыслие, чисто интеллектуальное, вполне допускало выводы, склонные оправдывать всевозможные отклонения от принятых норм, не исключая и свободы современных нравов. Популярность Вольтера объясняется и этой стороной его мировоззрения, также пленившей и Екатерину.

Без сомнения, он овладел ею и другими, более благородными чертами своего бесспорного гения: гуманными мыслями, сделавшими его апостолом терпимости в делах веры, великодушными порывами, заставившими всю Европу рукоплескать ему, как защитнику Каласа и Сирвена. Екатерина обязана была ему некоторыми лучшими своими идеями.

Но как ему, так и Монтескье и Тациту, она обязана главным образом в данную эпоху некоторую интеллектуальную гимнастику, гибкостью в обращении с великими социальными и политическими задачами, словом – общей подготовкой к будущему ее ремеслу.

Вместе с тем ее ум быстро зреет от соприкосновения с этими великими умами, и развивается и ее практический смысл; у нее являются новые привычки и вкусы, которые в свою очередь влекут за собой и другие ценные приобретения. Она начинает любить общество некоторых серьезных людей, пугавших раньше ее юность. Она в особенности ищет общения со старыми женщинами, которые были не в милости при дворе, подобном двору Елизаветы. Она вызывает их на долгие разговоры. Таким образом она приобретает привычку говорить по-русски; она пополняет сведения, полученные ею от Владиславовой насчет интимных уголков жизни общества, которое она вскоре познает в совершенстве. Наконец, она привлекает драгоценные симпатии, полезную дружбу, которыми впоследствии и сумеет воспользоваться.

Таким образом завершилось второе воспитание Екатерины.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПО ПУТИ К ЗАВОЕВАНИЮ ВЛАСТИ

Глава 1 Молодой двор

I

Родив наследника престола, Екатерине пришлось испытать не только описанное нами странное обращение с ней; в силу самого факта рождения ребенка она оказалась отставленной на второй план и, так сказать, спустилась на низшую ступень. Она оставалась особой высокого ранга, но уже не пользовалась большим значением. Она перестала быть условием *sine qua non* династической программы, необходимым существом, на которое, в ожидании великого события, были устремлены все взоры, начиная с императрицы и кончая последним подданным империи. Она исполнила свою миссию.

Однако именно после этого решающего события она мало-помалу начинает входить в роль, которой ни одна великая княгиня не играла ни до, ни после нее в России. Ни истории других стран, ни история самой России не могут нам дать понятия о том, что представлял собой так называемый «молодой двор», двор Петра и Екатерины, в шестилетний период от 1755 г. до 5 января 1762 г., дня смерти Елизаветы.

Иногда дипломаты, приезжавшие в Петербург, не знали, в какую дверь им стучаться; некоторые из них, не сомневаясь, отважно стучались в маленькую дверь: к последним принадлежал английский посланник Генбюри Вильямс.

Подробное изложение фактов, наполнивших собой эту эпоху, заставило бы нас выйти из рамок предлагаемого труда. Мы укажем лишь самые выдающиеся из них: вмешательство Екатерины в политику, ее связь с Понятовским и наконец жестокий кризис, вызванный падением всемогущего Бестужева, когда будущая императрица впервые состязалась на арене своих последующих триумфов и одержала первую победу.

Екатерину вовлекла в политику любовь. Ей было суждено всегда соединять эти два столь различных, по-видимому, элемента; благодаря ее искусству или ее счастью, она почти всегда извлекала пользу из этого смешения, оказывавшегося роковым для многих других. Первой ее вылазкой из узкой сферы, в которой Елизавета намеревалась ее всегда держать, является вмешательство в дела Польши. Несомненно, однако, она вздумала интересоваться этими делами лишь тогда, когда открыла в себе интерес к делам красивого поляка. Впрочем, для того, чтобы сделать это открытие, ей понадобилась посторонняя помощь. Сводни как мужского, так и женского пола играли с ранних пор большую роль в ее жизни.

В 1755 г. Англия, желавшая возобновить договор, связывавший с 1742 г. Россию с системой ее союзов, и обеспечить себе помощь русской армии на случай разрыва с Францией, становившегося неминуемым в ближайшем будущем, отправила в Петербург нового посла. Диккенс, занимавший до тех пор этот пост, сам сознавался в своей неспособности исполнить эту задачу. Двор Елизаветы был слишком беспокойный для человека его лет. Дела делались в промежутках времени между балом, комедией и маскарадом. Его заявления были признаны правильными английским правительством, и оно принялось искать дипломата, отвечающего всем требованиям призвания. Таковым оказался сэр Чарльз Генбюри Вильямс. Выбор был удачный. Будучи другом и товарищем по удовольствиям Роберта Валь-

поля, новый посол прошел хорошую школу. Он действительно не пропустил ни одного бала, ни одного маскарада и не замедлил убедиться в том, что подобное усердие не подвигало дела. Его искательство перед Елизаветой было ей, по-видимому, очень приятно, но политически оказалось совершенно бесплодным. Когда он пытался стать на твердую почву переговоров, государыня уклонялась. Он тщетно искал императрицу, он находил лишь очаровательную танцовщицу менуэта, а иногда и вакханку. Через несколько месяцев он пришел к убеждению, что с Елизаветой нельзя говорить серьезно, и стал оглядываться кругом. Разочаровавшись в настоящем, он подумал о будущем. Будущее – это молодой двор.

Но опять-таки он наткнулся на фигуру будущего императора и, обладая ясным взглядом людей своей расы, с первого же раза решил, что он и тут лишь потеряет время. Его взоры остановились наконец на Екатерине. Может быть, на него повлиял и увлекательный пример других разочарований и других надежд, одновременно шедших по тому же пути и направлявшихся к той же точке опоры. Разве великий Бестужев не начинал сам отказываться от своих прежних предубеждений? Вильямс подметил знаменательные шаги в сторону великой княгини, подземные ходы, приводившие к ней. Он быстро решил. Осведомленный придворными слухами о любовных приключениях, в которых фигурировали красавец Салтыков и красавец Чернышев, сам довольно предприимчивый, Вильямс попытался было пойти по этим романическим следам.

Екатерина приняла его очень любезно, говорила с ним обо всем, даже о серьезных предметах, которые Елизавета отказывалась обсуждать, но она смотрела в другую сторону. Один из этих взглядов, перехваченный Вильямсом, подсказал ему дальнейший образ действия. Вильямс обладал практическим умом: он уступил место молодому человеку, входившему в состав его свиты. То был Понятовский.

Всем известно темное происхождение этого романического героя, которого роковая случайность – одна из тех, которая решила в ближайшем будущем судьбу Польши, – приобщила с этой минуты к истории его страны. Вильямс до своего приезда в Россию занимал в течение нескольких лет пост резидента при саксонском дворе, где и встретил этого сына *parvenu* и племянника двух самых могущественных вельмож Польши, Чарторыйских. Он с ним сошелся и, предложив заняться его политическим воспитанием, взял его с собою в Петербург. Чарторыйские, со своей стороны, поспешили воспользоваться этим случаем, чтобы поручить дипломатическому ученику особую миссию: защиту при северном дворе их интересов и интересов их отечества, понимаемых ими по-своему. Они как раз вводили в Польшу новую политику, политику компромиссов и «*entente cordiale*» с наследственным врагом, т. е. Россией, и измены традиционным союзникам республики, в особенности Франции. Они поворачивались спиной к Западу и обращались к Северу, в надежде найти убежище для несчастного корабля, гонимого бурей и изрытого пробоинами, которым они намеревались управлять. Эта политика прекрасно совпадала с программой, исполнение которой было возложено на Вильямса.

Будущему королю польскому было тогда двадцать шесть лет. У него было приятное лицо, но он не мог соперничать в отношении красоты с Сергеем Салтыковым. Зато он был *gentilhomme* в полном смысле слова, как его понимали в то время: образование его было разностороннее, привычки утонченные, воспитание космополитическое, с тонким налетом философии; он являлся совершенным образчиком этого типа людей и первым, остановившим на себе внимание Екатерины. Он олицетворял собой ту умственную культуру и светский лоск, к которым она одно время пристрастилась, благодаря чтению Вольтера и мадам де Севинье. Он путешествовал и принадлежал в Париже к высокому обществу, блеском и очарованием своим импониравшему всей Европе, как и королевский престиж, на который еще никто не посягал в то время. Он как бы принес с собой непосредственную струю этой атмосферы и обладал как качествами, так и недостатками ее. Он умел вести искристый

разговор о самых отвлеченных материях и искусно подойти к самым щекотливым темам. Он мастерски писал записочки и умел ловко ввергнуть мадригал в банальный разговор. Он обладал искусством вовремя умилиться. Он был чувствителен. Он выставял напоказ романтическое направление мыслей, при случае придавая ему героическую и смелую окраску и скрывая под цветами сухую и холодную натуру, невозмутимый эгоизм, даже неисчерпаемый запас цинизма. Все в нем пленяло Екатерину, даже некоторое легкомыслие, которое, как это ни странно, всегда нравилось ей, может быть, вследствие какого-нибудь таинственного сродства с ее собственной твердой и уравновешенной натурой.

Если верить личным признаниям, Понятовский обладал еще одним достоинством, весьма неожиданным и почти невероятным в молодом человеке, побывавшем в Париже.

«Сперва строгое воспитание, – пишет он в отрывке своих записок, дошедшем до нас, – отдалило меня от всяких беспутных сношений; затем честолубивое желание проникнуть и удержаться в так называемом высшем обществе, в особенности в Париже, охраняло меня в моих путешествиях, и целая сеть странных мелких обстоятельств в моих попытках вступить в любовные связи в других странах, на моей родине и даже в России как будто нарочно сохранила меня цельным для той, которая с той поры властвовала над моей судьбой».

Опять-таки Бестужев поощрил молодого поляка. Понятовский колебался. До него дошли мрачные слухи о судьбе молодых людей, пользовавшихся расположением русских императриц и великих княгинь, постигавшей их после того, как они переставали нравиться. Бестужев прибег к содействию Льва Нарышкина, великодушно указавшего ему путь, вероятно, хорошо ему известный. Нарышкин всегда был услужлив. Но, вероятно, Екатерина сама сломила последнее сопротивление Понятовского. Для этого достаточно было ее красоты, помимо всяких других ее чар. Вот как о ней отзывается впоследствии счастливый любовник: «Ей было двадцать пять лет; она недавно лишь оправилась после первых родов и находилась в том фазисе красоты, который является наивысшей точкой ее для женщин, вообще наделенных ею. Брюнетка, она была ослепительной белизны; брови у нее были черные и очень длинные; нос греческий, рот как бы зовущий поцелуи, удивительной красоты руки и ноги, тонкая талия, рост скорей высокий, походка чрезвычайно легкая и в то же время благородная, приятный тембр голоса и смех такой же веселый, как и характер, позволявший ей с одинаковой легкостью переходить от самых шаловливых игр к таблице цифр, не пугавших ее ни своим содержанием, ни требуемым ими физическим трудом».

Глядя на нее, «он забыл, говорит он, что существует Сибирь». Вскоре лица, окружавшие великую княгиню, сделались свидетелями одной сцены, которая, должно быть, подтвердила ходившие уже слухи. В числе лиц, составлявших интимный кружок великой княгини, был и некто граф Горн, швед по происхождению, живший некоторое время в Петербурге и сошедшийся с Понятовским. Однажды, когда он входил в комнату великой княгини, маленькая болонка, принадлежавшая ей, принялась ожесточенно лаять как на него, так и на всех входивших гостей. Вдруг появился Понятовский, и маленький предатель бросился к нему, ласкаясь со всеми признаками живейшей радости.

«Друг мой, – сказал швед, отводя в сторону Понятовского, – нет ничего ужаснее болонки; когда я влюблялся в какую-нибудь женщину, я первым долгом дарил ей болонку и благодаря ей узнавал о существовании более счастливого соперника».

Сергей Салтыков, вернувшись из Швеции, не замедлил узнать, что у него есть преемник, но он не был ревнив; впоследствии Екатерина не могла хвалиться постоянством, но надо признаться, что ее первые любовники подавали ей в этом отношении дурной пример. До появления Понятовского Салтыков имел даже дерзость назначать любовнице свидания, на которые сам не приходил. Однажды Екатерина тщетно прождала его до трех часов ночи.

Таким образом Вильямс заручился могучим средством влиять на великую княгиню. Он, однако, не пренебрег и другими мерами. Он вскоре узнал о все возрастающих материаль-

ных затруднениях Екатерины. В этом отношении увещания Елизаветы оказались бесплодными. Несмотря на свою любовь к порядку и даже некоторые буржуазные экономные привычки, Екатерина была всю свою жизнь расточительна. Ее побуждали к этому как ее страсть к роскоши, так и ее взгляды на пользу некоторых расходов, вкоренившиеся в ее уме вследствие корыстных обычаев ее отечества и развившиеся под влиянием опыта, приобретенного ею в новой среде, в которой ей суждено было жить. Вера во всемогущество «на чай» не покидала ее во всю ее жизнь. Вильямс предложил свои услуги, и они были ею приняты. Итог займов, произведенных Екатериной у Вильямса, нам неизвестен. Он, вероятно, был значителен: Вильямс получил *carte blanche* от своего правительства. Две расписки, подписанные великой княгиней на общую сумму в 50 000 р., помечены 20 июля и 11 ноября 1750 г., и заём 21 июля был, очевидно, не первый, так как, испрашивая его, Екатерина писала банкиру Вильямса: «Мне тяжело опять обращаться к вам».

II

Бестужев восторжествовал поочередно над всеми своими врагами; но эти победы, потребовавшие напряжения всех его сил, истощили его. Он старел и чувствовал себя все менее и менее способным бороться с напором честолюбивых замыслов своих соперников, ненасытной злобы и беспрестанно прорывавшейся жажды мести. Елизавета также не прощала ему, что он как бы навязал себя ей. Она начинала обходиться с ним холодно. Она в то же время начинала подвергаться ударам апоплексии, и это давало канцлеру пищу для размышлений. Великий князь, в ближайшем будущем император, производил на него такое же печальное впечатление, как и на Вильямса. Он знал, что ему легко было добиться его фавора, но его усилия ни к чему не повели бы, или, скорей, привели бы его туда, куда Бестужев ни за что не желал идти. Узкий мозг Петра вмещал лишь одну политическую идею: преклонение перед Фридрихом. Он был с головы до ног пруссаком. Бестужев же оставался и намеревался умереть верным австрийцем. Оставалась, следовательно, одна великая княгиня. С 1754 г. в голове канцлера как будто зреет мысль о вступлении в непосредственное соглашение с ней.

Эта эволюция совершилась быстро.

Вскоре Екатерина заметила значительную и весьма благоприятную для нее перемену в штате, приставленном к ней для наблюдения за ней и прислуживания ее особе. Ее первая камер-фрау, Владиславова, нечто вроде цербера женского пола, стала вдруг после разговора с канцлером «кротким ягненком». Вскоре после этого Бестужев помирился с принцессой Цербстской и внезапно предложил себя в посредники для переписки, которую она продолжала вести с дочерью и которая, по его же внушению, была ей до того строжайше воспрещена. Наконец он решился на героический шаг: через Понятовского передал великой княгине документ существенной важности.

На этот раз Бестужев сжигал корабли и рисковал своей головой; но он раскрывал перед печальной супругой Петра новый горизонт, способный ее ослепить и служить искушением для ее нарождающегося честолюбия; он, так сказать, указывал ей путь, по которому ей суждено было впоследствии пойти на завоевание власти: это был проект, устанавливавший престолонаследие. Согласно ему, тотчас же после смерти Елизаветы надлежало провозгласить императором Петра, но совместно с Екатериной, которой следовало разделить с ним все его права и всю власть. Бестужев, разумеется, не забыл и самого себя. Он, собственно говоря, выговаривал себе всю власть, оставив Екатерине и ее супругу лишь то, что он в качестве подданного не мог от них отнять. Екатерина обнаружила в данном случае очень большой такт. Она не обескуражила автора проекта, но сделала некоторые оговорки. Так, она велела передать ему, что не верит в возможность его осуществления. Может быть, старая лиса Бестужев и сам этому не верил.

Он взял назад проект, переделал его, переработал, внес некоторые поправки и изменения, вновь представил его на обсуждение главного заинтересованного лица, затем снова переделал его и, казалось, был поглощен этой работой. С обеих сторон игра велась тонкая; но лед был сломан, и они не замедлили прийти к соглашению относительно других пунктов.

Итак, Екатерину приглашали с двух сторон выйти из замкнутого состояния, в котором она, против воли, впрочем, до сих пор пребывала. Она этому вовсе не противилась. Все ее природные вкусы и инстинкты толкали ее на эту дорогу. Первое время ее удерживала осторожность, вполне основательная, как мы увидим ниже, и ее первые шаги были нерешительны, но затем она стала все смелее и смелее, и наконец отважилась принять участие в предприятиях, чуть не приведших ее на край гибели. Следует, однако, сказать, что ни Бестужев, ни Вильямс, согласившиеся эксплуатировать нарождающееся влияние великой княгини, плод их совместных усилий, и оспаривавшие его друг у друга впоследствии, когда события их рассорили между собой, не вложили в свое дело ни скромности, ни сдержанности. Бестужев играл свою последнюю партию и старался увеличивать свою ставку всем, что попадалось ему под руку. Что касается Вильямса, он вдруг обнаружил отчаянную смелость. Обладая очень большим пониманием вещей и некоторой ловкостью, этот англичанин проявил вместе с тем и необычайную силу воображения и изрядное легкомыслие. В его уме обитала химера. Он устраивал события на свой манер, не совпадавший иногда с намерениями судьбы или Провидения. Когда события доказывали его неправоту, он отказывался считать себя побежденным. Это был английский гасконец. Когда в августе 1755 г. он добился возобновления договора, связавшего Россию с Англией, он запел победную песнь. Он обошел Бестужева, победил Елизавету и с помощью Понятовского соблазнил Екатерину. В воображении он уже видел сто тысяч русских солдат, отправляющихся в поход и наводящих страх на врагов его величества короля. Эти враги были, конечно, пруссаки и Франция. Вдруг он узнаёт о заключении Вестминстерского договора (5 января 1756 г.), включавшего Пруссию в число союзников Англии. Фридрих внезапно переменяет фронт. Вильямс ничуть не смутился. Сто тысяч русских будут воевать с одним врагом, а не с двумя, вот и все. Они победят на берегах Рейна, вместо того чтобы торжествовать на берегах Шпре. Придется только повести их немного подальше. В ожидании этого события отважный дипломат отдавал себя лично в распоряжение Фридриха II. С 1750 г. у последнего не было представителя в Петербурге. Вильямс предложил свои услуги. Чрез посредство своего коллеги в Берлине он установил очень деятельную переписку, сообщавшую его прусскому величеству все, что совершалось в России. Однако на известие об англо-прусском договоре Елизавета вдруг отвечает тем, что сперва вовсе отказывается ратифицировать свой собственный договор, а затем добавляет к ратификации его, состоявшейся наконец 26 февраля 1756 г., условие, в силу которого договор был действителен лишь в случае нападения Пруссии на Англию. Вильямс и тут не потерял головы. Среди этого перекрестного огня споров и среди вытекающего из него общего переворота в европейской политике он остался верным своей программе, заключавшейся в обеспечении содействия русских войск в борьбе против врагов Англии. Его ненависть к Франции им руководила и ослепляла его. Даже Версальский договор (1 мая 1756 г.) не открыл ему глаз. Он не видел или не хотел видеть, что связанная отныне с Австрией Франция становилась для России не врагом, а естественной союзницей в силу новой группировки держав и интересов и товарищем по оружию в ближайших войнах. Именно в данную минуту он задумал использовать свои связи с молодым двором и влияние, которое он, как полагал, приобрел на поступки и симпатии великой княгини. Забегая вперед по этому пути, он даже уверил Фридриха, что Екатерина имела и возможность и желание остановить русскую армию, даже если по повелению Елизаветы она выступит в поход, и по меньшей мере предписать ей бездействие. Фридрих в этом разубедился, когда уже было слишком поздно: Апраксин взял Мемель и нанес кровавое поражение прусской армии (под

Гросс-Егерсдорфом в августе 1757 г.). Но заблуждение это тянулось два года, в течение которых Вильямс, называя все время Екатерину «своим дорогим другом», по своему усмотрению заставлял ее (он был в этом уверен) менять симпатии, за или против прусского короля, хвастался тем, что выслушивал от нее советы, равносильные выдаче государственных тайн, и в общем надевал на великую княгиню маску простого шпиона в пользу державы, с которой Россия находилась в войне!

Трудно безошибочно установить, какова была в действительности роль Екатерины в эту эпоху, одну из самых тревожных в ее жизни. Несомненно, Вильямс обманывал Фридриха и сам заблуждался. Немецкие историки обвиняют английский кабинет в том, что он исправлял депеши самонадеянного посла, которые сообщались берлинскому правительству. Однажды Вильямс дошел до того в своих политических галлюцинациях, что сочинил целиком один поступок Екатерины, никогда ею не совершенный, и письмо, ею не написанное. Несомненно однако, что, благодаря предупредительности Вильямса и ухаживанию Понятовского, великая княгиня не могла оставаться вполне безучастной к этому страшному кризису или даже равнодушной к английским интересам. Расписки, которые банкир Вольф продолжал получать по приказанию английского посла, также не были лишены красноречия. Но, с другой стороны, подходы Бестужева тоже были достойны внимания Екатерины; а канцлер, которого Фридриху не удалось подкупить, настаивал на лояльном исполнении союзного договора с Австрией. Все это, вероятно, побудило политическую ученицу Монтескье и Брантома совершить многие опасные и, может быть, противоречивые поступки.

Между тем Понятовский становился весьма беспокойным, так что вскоре союзные кабинеты Вены и Версаля стали считать его самым лютым своим врагом в Петербурге и человеком, от которого надлежало избавиться во что бы то ни стало. Вследствие неофициального его положения это казалось делом легким. Они к нему приступили очень усердно, но натолкнулись на неожиданное препятствие: они упустили из виду любовь. Самого Вильямса легче было столкнуть с поста, на котором он, казалось, больше служил Пруссии, чем Англии. В октябре 1757 г. ему пришлось уехать. Понятовский остался. Но таким образом Екатерина принуждена была открыться вся и целиком отдаться политике, доступ к которой ей был так строго воспрещен.

Добавим, что ее дебют не обещал ничего хорошего. С первых же пор она явно злоупотребила недавно приобретенным влиянием, пользуясь им для личной, тайной выгоды, диаметрально противоположной в некоторых отношениях интересам ее нового отечества, как они понимались теми, кто стоял на страже их. Она была вовлечена в политику любовью; любовь последовала за ней на эту арену и держала ее на ней. Этот эпизод ее жизни имеет такое решающее значение, что мы не можем не остановиться на нем.

III

Понятовский понравился Екатерине, потому что он говорил языком Вольтера и героев м-м де Скюдери. Он приобрел расположение великого князя, насмехаясь над польским королем и его министром, воздавая таким образом косвенно почтение Фридриху. Он не одержал других побед в Петербурге. Елизавета смотрела на него косо и готова была уступить настояниям саксонского двора, требовавшего его удаления. Спрашивалось: на каком основании, не будучи ни англичанином, ни дипломатом, он входил в состав английского посольства? Почему, собственно, не имея никакого положения, он вздумал играть какую-то роль? Аргументы эти не были вескими. В то время все европейские дворы кишели еще более загадочными личностями и дипломатическими агентами, обладавшими еще меньшими полномочиями. Петербургский двор не составлял исключения из общего правила. К нему только что прибыл д'Эон. Понятовскому пришлось, однако, немедленно исчезнуть. Екатерина отпу-

стила его, будучи уверена, что он вернется. Действительно, через три месяца он возвратился, снабженный официальным званием министра короля польского. Это было дело рук Бестужева, желавшего во что бы то ни стало быть приятным Екатерине.

Чувствуя отныне под собой твердую почву, поляк не замедлил воспользоваться этим, чтобы снова начать свою лихорадочную деятельность, обдывая дела своих дядей Чарторыйских, во вред королю польскому, и дела своего друга Вильямса, в пользу прусского короля. Часто Екатерина, поддерживая его хлопоты, делала приписки в его письмах к Бестужеву. Когда ее вмешательство не сказывалось явно, подразумевалось, что оно сводилось к одному и тому же. Вскоре снова раздался хор жалоб со стороны французского и австрийского послов. Одно время Дуглас подметил было возможность войти в соглашение с молодым двором, а следовательно, и с Понятовским. После некоторого колебания и нерешительности маркиз Лопиталь также склонился к этому мнению и перестал противиться пребыванию польского дипломата в северной столице. Но в то же время возникло крупное разногласие между носителями французской политики в Петербурге и представителем ее в Варшаве, графом де Брoльи. Последний настоятельно требовал отозвания Понятовского. Увы! французская политика и ее влияние на Востоке рушились таким образом в непримиримом конфликте противоположных идей и принципов!

В сентябре 1767 г. Дуглас отправился в Варшаву и в целом ряде бесед с графом Брoльи принялся убеждать его в необходимости радикальной перемены фронта относительно защиты французских интересов в Восточной Европе. Согласно его мнению, вследствие Версальского договора, обусловившего вступление Франции в систему союзов, к которой принадлежали Россия и Австрия, Франция должна была разорвать старые связи с Портой и Польшей. Приобретение могущественной дружбы в Петербурге вознаградило бы за потерю влияния в Варшаве и Константинополе. Таким образом задача была поставлена ребром, и только подобное отношение к ней могло бы дать возможность Дугласу и маркизу Лопиталю обезоружить враждебность молодого двора и заручиться содействием Понятовского. Как только Брoльи выскажется за открытое и полное согласие с Россией, племянник Чарторыйских, занятый поддержанием в Петербурге русофильской программы своих дядей, превратится в его естественного союзника.

Но граф де Брoльи вовсе не разделял подобных воззрений. Что же касается лиц, которым надлежало указать ему направление, какого ему следовало держаться, они просто не имели на этот счет никакого определенного мнения. Люди, ведавшие во Франции внешними сношениями, — мы подразумеваем не только анонимных руководителей сокровенной политики Людовика XV, держателей «королевского секрета», но и официальных министров — Рулье, аббат Берни и Шуазель думали согласовать самые непримиримые понятия: перемену системы с непоколебимостью принципов, поддержку русских войск против общего врага с сохранением старинной близости с Турцией, Польшей и Швецией, авансы случайному будущему с верностью прошлому. Если и было различие во взглядах в этом отношении между двумя правящими властями, между *министерским*, как тогда говорили, кабинетом и таинственной канцелярией, где вырабатывались нередко противоречивые депеши, то оно касалось лишь вопроса о мерах, которые надлежало принять. С одной стороны, на Россию упорно продолжали смотреть как на варварскую страну, с которой немисливо было какое-либо соглашение и которую следовало откинуть назад в Азию, а с другой стороны, проявлялась склонность рассматривать страшную империю, созданную Петром Великим, как союзницу, не очень желанную, но во всяком случае возможную и, может быть, необходимую в более или менее отдаленном будущем, и как державу, с которой приходилось считаться и которой надлежало сделать некоторые уступки даже на берегах Вислы. Но обе стороны согласны были ограничить эти уступки. Прошло более ста лет, прежде чем целый ряд жестоких разочарований, бесплодных усилий, несчастий, разделенных, увы! этими несчастными

клиентами, которыми не хотели пожертвовать и которыми все же пожертвовали, не выяснили наконец главный основной порок подобной концепции вещей и подобной программы. Франция упорствовала в необыкновенном решении защищать поляков, турок и шведов против России, вступая в союз с той же Россией. Что касается графа де Брoльи, он, вследствие долгого пребывания в Польше, стал смешивать интересы Франции даже не с интересами Польши, а с интересами одной из партий, действовавших в республике, а эта партия боролась именно с русским влиянием и могущественной «фамилией» Чарторыйских, стремившейся к тому, чтобы это влияние восторжествовало, а вместе с ним – и сама фамилия.

В результате королевский посол в Варшаве получил в октябре одновременно и официальное и секретное приказание настаивать на отзывании Понятовского; он деятельно принялся за это дело. В ноябре все было готово. Брюль уступил. «Удар направлен, – писал маркиз Лопиталь аббату Берни, – надо его поддержать». Но он к тому же добавлял, что все произошло слишком быстро и внезапно. «Это повлечет за собой, – говорит он, – сильное неудовольствие канцлера Бестужева и злобу великого князя и великой княгини... Не могу не выразить вам, что, по моему мнению, граф де Брoльи вложил во все это дело слишком много горячности и страстности. Он считал долгом чести по отношению к своей партии (sic) сделать эту неприятность Понятовским и Чарторыйским. Это было, наконец, его *impregno*...» Вообще Лопиталь находит, что граф Брoльи, «привыкший властвовать», обращался слишком надменно со своим коллегой и поступал с ним скорее как министр иностранных дел, а не как посол. Этот властный дипломат позволял себе также неуместные, по мнению его коллеги, шутки. Он писал д'Эону: «Вы, может быть, несколько удивитесь отзыванию г. Понятовского; пришлите его нам поскорее; мне очень хочется его увидеть, чтобы поздравить его с успехом его переговоров».

Однако Понятовский не уехал. Он сказался больным и таким образом с недели на неделю, с месяца на месяц откладывал свою прощальную аудиенцию. Тем временем случилось событие, коренным образом изменившее положение дел и позиции соперников на европейском поле сражения. Франция, которая накануне его могла говорить если не властно, то по крайней мере имея право быть почтительно выслушанной как в Петербурге, так и в Варшаве, принуждена была понизить тон.

Это событие называется Росбахом (6 ноября 1757 г.).

Версальскому кабинету нечего было и думать навязывать свои желания. Великая княгиня решительнее дала почувствовать свою волю канцлеру Бестужеву. Тот сослался на приказание первого министра польского короля, настаивавшего на отзывании Понятовского. «Первый министр короля польского согласен будет лишить себя хлеба, чтобы сделать вам приятное», резко отвечала она. Когда Бестужев попытался выставить необходимость беречь собственное положение, она ответила без запинки: «Никто вас не тронет, если вы будете делать то, что я хочу». По-видимому, вместе с высоким мнением о перевесе России, приобретенным ценою унижения Франции, будущая императрица имела не менее высокое понятие о собственном своем значении. Это было также следствием сражения при Росбахе.

События оправдали обе эти оценки. Брюль, саксонский министр, действительно, лишил себя хлеба, чтобы сделать приятное всероссийскому канцлеру: Понятовскому было приказано остаться на своем посту, и все пошло по-старому. Только маркиз Лопиталь раз навсегда отказался от своих попыток согласоваться с положением вещей, над которыми он не имел больше никакой власти. Он не попробовал больше плыть против течения и лишь «смотрел, как течет вода». Он даже не старался поддерживать сношения с молодым двором, представлявшимся ему «очень бурным маленьким морем», полным подводных камней.

Спустя шесть месяцев Понятовский сам доставил графу де Брoльи удовлетворение, получить которое тот уже отчаивался. После всего того, что было совершено Понятовским, ему было довольно трудно сделать свое пребывание в Петербурге невозможным, однако он и

этого добился. Событие это было рассказано различным образом: мы придерживаемся версии главного героя, которая, впрочем, подтверждается и свидетельством маркиза Лопиталья.

Великий князь не сказал еще своего слова по поводу пребывания польского дипломата в России. Он был в то время поглощен новой страстью: Елизавета Воронцова, последняя его любовница, только что выступила на сцену. Вмешательство с его стороны являлось возможной, хотя и не совсем правдоподобной случайностью. Оно произошло в июле 1768 г. Выходя рано утром из ораниенбаумского дворца, Понятовский был арестован пикетом кавалерии, который Петр держал вокруг своей резиденции, точно в военное время. Понятовский был переодет. Его без церемонии арестовали и привели к великому князю. Петр настаивал на том, чтобы ему сказали всю правду – она сама по себе, по-видимому, его не беспокоила. Он уверял, что «все может устроиться», если ему скажут, в чем дело. Молчание арестованного вывело его из себя. Он заключил из него, что этот ночной посетитель имел злокозненные намерения против него самого, и вообразил или притворился, что жизнь его была в опасности. Не обнаружив присутствия духа один соотечественник, недавно приехавший в Петербург в свите принца Карла Саксонского,¹ Понятовский дорого заплатил бы за свою неосторожность. Но великий князь все же в течение нескольких дней поговаривал о том, чтобы наказать иностранца, пытавшегося обмануть бдительность его аванпостов. Екатерина испугалась и решила принести большую жертву; она оказала Елизавете Воронцовой любезность, о которой та никогда и не смела мечтать. Понятовский со своей стороны стал заискивать у фаворитки.

– Вам так легко было бы сделать всех счастливыми, – шепнул он ей на ухо во время приема при дворе.

Елизавета Воронцова не заставила себя просить. В тот же день, переговорив предварительно с великим князем, она впустила Понятовского в комнату великого князя.

– Не безумец ли ты, – воскликнул Петр, увидев его, – что ты до сих пор не доверился мне!

Он, смеясь, объяснил, что и не думает ревновать; меры предусмотрительности, принимаемые вокруг ораниенбаумского дворца, были лишь в видах обеспечения безопасности его особы. Тут Понятовский вспомнил, что он дипломат, и стал рассыпаться в комплиментах по адресу военных диспозиций его высочества, искусность которых он испытал на своей же шкуре. Хорошее настроение великого князя усилилось.

– А теперь, – сказал он, – если мы друзья, здесь не хватает еще кого-то.

«С этими словами, – рассказывает Понятовский (мы приводим дословно соответствующий отрывок из его „Записок“), – он идет в комнату своей жены, вытаскивает ее из постели, не дает ей времени одеть чулки и ботинки, позволяет только накинуть капо (robe de Batavia), без юбки, в этом виде приводит ее к нам и говорит ей, указывая на меня: „Вот он; надеюсь, что теперь мною довольны“.²

Друзья весело поужинали и расстались только в четыре часа утра; по просьбе заинтересованных лиц Елизавета Воронцова была настолько любезна, что взяла на себя труд лично убедить Бестужева в том, что присутствие Понятовского в Петербурге перестало

¹ Этот поляк, по фамилии Браницкий, был главой старинной провинциальной фамилии, некоторые члены которой недавно поселились во Франции. Граф Ксаверий Браницкий, владелец исторического замка и великолепных владений Монтрезор (Indre-et-Loire) – правнук того друга, которому будущий король обязан был своим спасением. В то же самое время другая семья, носящая ту же фамилию, но древнее и знатнее ее и имеющая другой герб, угасла в лице Яна-Клемента Браницкого. Эта встреча и тождественность имен нередко давали повод к сбивчивым толкованиям.

² Вот версия маркиза Лопиталья: Граф Понятовский, ободренный смелостью великой княгини, решил посетить ее в ее дачном дворце; но, приехав туда, был арестован офицерами и препровожден к генералу Брокдорфу, где находился великий князь... – «Я знаю, – сказал великий князь, – все ваши интриги с великой княгиней. Может быть, даже вы питаете злой умысел против меня. При вас есть пистолеты... – Что за подозрения!.. – Итак, вы желаете только видеть великую княгиню? Идите к ней, Понятовский, и поужинайте с ней. Вы знаете, что и у меня есть любовница».

быть неприятным великому князю. Пирушка возобновилась на следующий день, и в течение нескольких недель это изумительное супружество вчетвером было бесконечно счастливо.

«Я часто бывал в Ораниенбауме, — пишет дальше Понятовский, — я приезжал вечером, поднимался по потайной лестнице, ведущей в комнату великой княгини; там были великий князь и его любовница; мы ужинали вместе, затем великий князь уводил свою любовницу и говорил нам: „Теперь, дети мои, я вам больше не нужен“. — Я оставался, сколько хотел».

Однако слухи об этом распространились при дворе и, несмотря на то, что на подобные проделки смотрели весьма снисходительно, это происшествие все же произвело скандал. Маркиз Лопиталь почел своим долгом воспользоваться им, дабы возобновить свои настояния насчет удаления беспокойного поляка. На этот раз он победил. Понятовскому пришлось уехать. Елизавета поняла, что на карту была поставлена репутация и честь ее племянника и наследника. Два года спустя барону де Бретейлю было поручено изгладить из ума Екатерины неприятное впечатление, произведенное на нее этой тягостной развязкой. Ему удалось это лишь наполовину. Следует, однако, пояснить, что так как он был одновременно официальным представителем французской политики и секретным агентом тайной политики, ему приходилось играть двойственную роль и, уверяя великую княгиню, что «его наихристианнейшее величество не только не станет противиться возвращению графа Понятовского в Петербург, но даже расположен содействовать всеми мерами тому, чтобы „склонить короля польского снова поручить ему свои дела“, он вместе с тем был принужден, „не оскорбляя открыто чувств великой княгини, избегать склониться на ее желание“.

Сумасбродная двойственность, которой предавался в то время французский король, ярко сказалась в этой комедии. Екатерина не поддалась обману. Добившись не без труда частной беседы с великой княгиней, Бретейль услышал из ее уст несколько льстивых слов. «Меня воспитывали в любви к французам, — сказала она, — и я долгое время предпочитала их другим нациям; вы своими услугами должны вернуть мне это чувство». — «Я бы хотел, — пишет барон после этого свидания, — передать искусство, страстность и смелость, вложенные великой княгиней в этот разговор». Но он меланхолически добавляет: «Все это не имеет и, может быть, не будет иметь другого значения, кроме проявления ее страсти, наткнувшейся на препятствие».

Он был прав. Понятовский вернулся в Петербург лишь тридцать пять лет спустя уже лишившимся престола королем. Вскоре, поглощенная другими заботами, отвлеченная другими любовными приключениями, Екатерина сама потеряла интерес к хлопотам на этот счет, предпринятым другими лицами. Но злопамятное чувство все еще гнездилось в ее сердце, тем более что, хотя она и отказалась увидеть снова своего поляка, она все же не перестала о нем думать. Постоянство, иногда довольно своеобразное, входило в состав ее характера. Так как она соединяла любовь с политикой, то ей пришлось отныне вести за раз как свои сердечные, так и другие дела. Иногда — не всегда, впрочем, — она умела проявлять последовательность и постоянство. Таким образом, часто меняя любовников, ей случалось любить некоторых из них и за пределами временного увлечения сердца или чувственности. Она их любила тогда иначе, более спокойно, но и более решительно, безмятежно, *невозмутимо*, как выразился впоследствии князь де Линь. Безусловно проглядывает *дерзость* и даже некоторый цинизм в рескрипте, данном ею в 1763 г. своему послу в Варшаве, в котором, приказывая ему поддерживать кандидатуру Понятовского, она говорит, что «он во время своего пребывания в Петербурге оказал своей родине больше услуг, чем кто-либо из министров республики». Меры, принятые ею в то же время для уплаты всех долгов этого странного кандидата, свидетельствуют о ее нежности в соединении с мудрой предусмотрительностью. В 1764 г. предположение о браке ее с избранником польского народа и о слиянии вследствие этого обеих держав показалось всем столь вероятным, что Екатерине пришлось прибегнуть к искусным мерам, чтобы успокоить взволновавшихся было соседей. Она написала Обрез-

кову, своему послу в Константинополе, чтобы он сообщил Порте придуманную ею новость о переговорах, начатых Понятовским, задумавшим вступить в брак с представительницей одной из знатнейших польских фамилий. И сердце ее становится настолько равнодушным к роману, затянувшемуся таким образом, несмотря на расстояние времени и места, что она одновременно приказывает своим представителям в Варшаве, графу Кейзерлингу и князю Репнину, устроить так, чтобы тотчас же по своем избрании Понятовский женился на польке или по меньшей мере выразил намерение это сделать. Все это было сделано для того, чтобы умерить беспокойство Порты, может быть, также с целью воздвигнуть непреодолимое препятствие между прошлым и настоящим. Увы! близкое будущее избавило ее от этой заботы, вырыв на месте желанного препятствия бездонную пропасть. Вот что Понятовский, став королем польским, писал два года спустя своему представителю при петербургском дворе, графу Ржевускому:

«Последние приказания, данные Репнину, ввести диссидентов даже в законодательные учреждения как громом поразили как меня лично, так и страну. Если есть еще возможность, убедите императрицу в том, что корона, которую она мне доставила, станет для меня хитом Несса. Она меня сожжет, и смерть моя будет ужасна...».

Прежний любовник превратился в то время для Екатерины лишь в исполнителя ее властных желаний в почти завоеванной стране. Она ответила собственноручным письмом, в котором просила этого импровизированного короля, хрупкое создание ее рук, позволить Репнину делать свое дело, а то «императрице придется лишь вечно сожалеть о том, что она могла ошибиться в дружбе короля, в его образе мыслей и в его чувствах». Когда Понятовский стал настаивать, она послала ему последнее и грозное предостережение, где уже предчувствовались крепкие тиски Сальдернов, Древичей и Суворовых, задушивших последние национальные протесты:

«Мне остается лишь предоставить это дело своей участи... Я закрываю глаза на последствия его; я, однако, польщена тем, что ваше величество достаточно распознали бескорыстие всего, что я сделала для вашего величества и для вашего народа, чтобы не упрекнули меня в том, что я искала в Польше случая применить силу своего оружия... Оно никогда не будет направлено против тех...» – тут перо императрицы остановилось; она написала было: «кого я люблю», затем перечеркнула эти слова и написала: «против тех, кому я желаю добра»; она закончила фразой, в которой сказала вся ее мысль, раскатившаяся как барабанный бой перед залпом: «как я и не буду удерживать его, когда найду, что применение его будет полезно».

Мы только лишь мельком вернемся потом к этой связи, богатой столь странными и трагическими эпизодами. В жизни Екатерины она заняла меньше места, чем в жизни несчастного народа, которому суждено было играть роль искупительной жертвы. Рискнув своей репутацией, – потому что она не боялась уже скомпрометировать ее, – и своим влиянием, которое она сумела сохранить в неприкосновенности, Екатерина в конце концов извлекла из нее огромные выгоды. Можно было бы сказать, что Польша умерла вследствие ее, если бы народы не имели более глубоких причин для своей жизни или смерти. Нам следует теперь вернуться к той эпохе, когда протекали и кончались счастливые дни этого любовного романа, и к тому странному домашнему очагу, походившему на тюрьму, кордегардию и веселый дом, укрывавшему – довольно нескромно – эту тайну.

IV

Связанная политически с Вильямсом и Бестужевым, любовно и политически с Понятовским, Екатерина не представляет уж собой прежней затворницы, состоявшей под надзором придворных чинов, терроризованной Елизаветой и подвергавшейся дурному обраще-

нию со стороны мужа. Агенты канцлера были поочередно укрощены ею, и сам он подвергся той же участи. Петр остается все тем же грубым, эксцентричным и несносным существом, «странным и тронутым сумасшествием животным», как называет его Сен-Бёв. Иногда он внушает и отвращение к себе. Нередко он ложится в кровать совершенно пьяный и икая рассказывает жене о своей любви к горбатой герцогине Курляндской и к рябой фрейлине Воронцовой. Екатерина притворяется спящей, он награждает ее пинками и ударами кулаков, чтобы не давать ей заснуть, пока наконец сон не одолевает его самого. Он почти всегда пьян и все больше и больше безумствует. В 1768 г. Екатерина рождает дочь, царевну Анну, отцом которой считали Понятовского. В то время как она мучается в предродовых схватках, Петр, предупрежденный о приближении родов, является «в голштинском мундире, в ботфортах и при шпорах, в шарфе и с огромной шпагой сбоку». На вопрос Екатерины, что означает этот наряд, он отвечает, что «настоящих друзей можно распознать лишь в минуту нужды; что в этом наряде он готов исполнить свой долг; что долг голштинского офицера защищать согласно присяги герцогский дом против всех его врагов, вследствие чего он и прибежал на помощь жене, предполагая, что она одна». Он едва держится на ногах. Однако у него иногда являются и более приятные для Екатерины припадки хорошего расположения духа и любезности, из которых Екатерина извлекает пользу. Он отчасти поддался, если не очарованию великой княгини, подобно другим, то влиянию ее характера и ума. Ему нередко приходилось убеждаться в мудрости ее советов и правильности ее взглядов. Он привык прибегать к ней во всех своих затруднениях, и мало-помалу в его затемненном мозгу крепнет представление о ее превосходстве, которое ему суждено было так жестоко испытать на себе. В роковую минуту именно эта мысль, засевшая в нем, парализовала его и сделала его неспособным к самозащите.

«Великий князь, – пишет Екатерина, – давно уже называл меня *madame la Ressource*, и как бы он ни был сердит на меня, он в затруднительных случаях со всех ног прибегал ко мне, чтоб просить моего совета, и, получив его, так же со всех ног убегал».

Елизавета же, истощенная неправильной жизнью, преследуемая страхом, заставлявшим ее спать каждый день в другой комнате, – страхом, вследствие которого во всей империи искали человека, обладавшего достаточной способностью сопротивления сну, чтобы сидеть около ее постели и ни на минуту не вздремнуть,³ – Елизавета стала лишь тенью самой себя.

«Императрица, – доносит маркиз Лопиталь 6 января 1759 г., – стала жертвой странного суеверия. Она целыми часами стоит перед одной иконой, которую особенно чтит; она с ней разговаривает, советуется; она приезжает в оперу в одиннадцать часов, ужинает в час и ложится спать в пять часов. Теперь в фаворе граф Шувалов. Его семья осаждает императрицу, а дела идут, как им Бог на душу положит».

Новый фаворит, Иван Шувалов, не опасаясь навлечь на себя ревность и гнев императрицы, начинает у нее на глазах усиленно ухаживать за великой княгиней, что уже начинает привлекать общее внимание. «Он не прочь был бы, – уверяет барон де Бретейль, – совмещать две обязанности, как бы это ни было опасно». С 1757 г. маркиз Лопиталь приходит в ужас оттого, что молодой двор (а молодой двор – это Екатерина) «открыто поднимает забрало перед императрицей, образует партию, ведет интригу...» «Говорят, – пишет он, – что императрица перестала на это сердиться и распустила вожжи». В то же время в разговоре, в котором принимают участие все иностранные министры, великая княгиня, говоря с французским послом о своем пристрастии к верховой езде, восклицает: «Я самая смелая женщина в мире; я обладаю безумной отвагой».

³ Этот человек, простой неотесанный мужик, к тому же напоминавший собою кунсткамерного уродца, назывался Чулковым. Его впоследствии произвели в камергеры.

Она зачаровывает все более и более обширный круг людей, которые становятся рабами ее воли, ее честолюбия, ее страстей наконец, разгоравшихся с каждым днем. Она отныне оставляет за собой свободу действий не только в области политики; если, с одной стороны, молодой двор напоминает бурное море, по выражению маркиза Лопиталья, то, с другой стороны, барон де Бретейль находит в нем сходство с окрестностями знаменитого *Parc aux Cerfs*. Впрочем, последние годы царствования Елизаветы отличаются общей распущенностью нравов.

В марте 1755 г. саксонский резидент Функе описывает представление в императорском театре оперы «Кефал и Прокрида». На представлении присутствуют императрица, великий князь и весь двор, – а на сцене изображен именно двор с его распущенными нравами в целом ряде картин такого отталкивающего реализма, что честный Функе считает своим долгом опустить завесу на весь этот разврат. К тому же году относится и эпизод, занесенный Екатериной в свои «Записки», открывающий собою новую главу в ее интимной жизни – период ночных отлучек, сводящих на нет подобие надзора, учрежденного за нею. В течение зимы Лев Нарышкин, верный своему шутовскому вдохновению, придумал мяукать как кошка у двери великой княгини, чтобы известить о своем присутствии и испросить разрешения войти. Однажды вечером он издает знакомый звук в ту минуту, как Екатерина собирается ложиться спать. Она его впускает, и он предлагает ей посетить жену своего старшего брата, Анну Никитичну, которая больна. – Когда? – Сейчас, ночью. – Вы с ума сошли? – Ничуть, это очень легко. – Затем он излагает ей свой план и придуманные им меры предосторожности: следует пройти через апартаменты великого князя, который ничего не заметит, так как ужинает с несколькими любезными кавалерами и дамами и, может быть, даже уже лежит под столом. Он убеждает Екатерину, что опасности нет никакой, и та соглашается. Она дает Владиславовой раздеть себя и уложить спать, и вместе с тем приказывает одному калмыку, приученному ею к слепому повиновению, приготовить ей мужской костюм. По уходе Владиславовой она встает и уходит с Нарышкиным. К Анне Никитичне приходят беспрепятственно, она оказывается здоровой и находится в веселой компании. Время проходит очень весело, и участники пирушки дают обещание повторить ее и приводят, конечно, в исполнение свое намерение. Понятовский тоже участвует в общем веселье. Иногда возвращаются пешком по угрюмым петербургским улицам. Когда устанавливается суровая зима, вся компания придумывает способ возобновить удовольствие, не подвергая великую княгиню риску простудиться в холодные ночи, и переселяется к ней, в ее спальню, проходя по-прежнему через апартаменты великого князя, не ставшего более прозорливым.

После вторых своих родов Екатерине недостаточно ночей, она устраивается так, что принимает и днем, когда, кого и как хочет. Если читатель помнит, ей пришлось страдать от холода во время своей первой беременности; под этим предлогом она сооружает около своей кровати, посредством целой системы ширм, нечто вроде кабинета, где, как она уверяет, она защищена от сквозняков. Когда в ее спальню входят люди, не посвященные в эту тайну, и спрашивают, что скрывают ширмы, она отвечает: «Это судно». Между тем Екатерина нередко принимает там избранных гостей вроде Нарышкина и Понятовского. Последний приходит в огромном белокуром парике, делающем его неузнаваемым, и если его останавливают и спрашивают: «кто идет», он отвечает: «музыкант великого князя». «Кабинет», плод изобретательного ума Екатерины, так остроумно устроен, что она может, не вставая с постели, сообщаться с теми, кто в нем сидит, и скрыть их от всех взоров, задернув одну занавеску кровати. Таким образом, имея подле себя за этим занавесом обоих Нарышкиных, Понятовского, Сенявина, Измайлова и других, она имела возможность принять графа Петра Шувалова, пришедшего к ней от имени императрицы и ушедшего в уверенности, что великая княгиня одна. После ухода Шувалова Екатерина объявляет, что страшно голодна, и, приказав принести шесть блюд, угощает ими своих друзей. Затем снова задергивает занавеску и,

позвав лакеев, чтобы унесли пустые блюда, наслаждается их изумлением перед ее необыкновенным аппетитом.

Без сомнения, ее фрейлины знают про эти проделки. Но они этим не смущаются, так как и у них нет недостатка ни в дневных, ни в ночных посетителях. Чтобы проникнуть в их апартаменты, надо пройти через квартиру мадам Шмидт, их надзирательницы, или принцессы Курляндской, их начальницы.

Но мадам Шмидт большей частью больна по ночам желудком, который расстраивает себе обильной пищей днем. Что же касается принцессы Курляндской, то достаточно было быть красивым и заплатить попутно ей дань. Мы уже знаем, как дела обстояли с великим князем. Впрочем, узнав о второй беременности своей жены, Петр как будто сердится. Насколько он помнит, он к ней непричастен. «Бог знает, откуда она их берет! – бормочет он за обедом. – Я не знаю хорошенько, мой ли этот ребенок и должен ли я его принять на свой счет». Лев Нарышкин, слышавший эти слова, спешит передать их Екатерине. Она ничуть не пугается. «Какие вы дети, – говорит она, пожимая плечами. – Идите к нему, говорите громко и потребуйте от него тотчас же клятвенного заверения, что он не спал с женой вот уже четыре месяца. Затем объявите, что вы идете сейчас же к графу Александру Шувалову, великому инквизитору империи». Она называла так начальника «тайной канцелярии», замененной потом знаменитым «третьим отделением». Лев Нарышкин в точности исполняет поручение. «Убирайтесь к черту!» объявляет ему великий князь, совесть которого нечиста.

Несмотря на обнаруженную ею самоуверенность, инцидент этот все же беспокоит Екатерину. Она усматривает в нем предупреждение и как бы начало неприязненных действий в той решающей борьбе, к которой она готовилась с некоторых пор под влиянием вождедений власти и наслаждений, волной поднимающихся в ее груди. Но она принимает вызов. Вероятно, в это время, если верить ее словам, она и решается «идти по независимому пути»; можно себе представить, какое значение принимают в ее уме эти столь простые слова. Свержение с престола Петра III и его агония в мрачном дворце в Ропше стоят в конце избранного ею пути. Но в это же самое время разыгрывается также кризис, поставивший ее в несколько часов и на несколько месяцев лицом к лицу с бездной и с возможностью разрушения всех ее надежд и честолюбивых замыслов.

V

26 февраля (15 по русскому стилю) 1758 г. канцлер Бестужев был арестован. В то же время фельдмаршал Апраксин, командовавший армией, посланной в Пруссию против Фридриха, смещен с должности и отдан под суд. Эти два события казались в глазах публики имевшими связь между собой. События, ознаменовавшие собою кампанию, известны. Взятие Мемеля и победа под Гросс-Егерсдорфом, одержанная Апраксиным в августе 1757 г., преисполнили радости союзников России и возбудили в них величайшие надежды. Они в воображении уже видели Фридриха растерянным, просящим помилования. Однако вместо того, чтобы идти вперед и воспользоваться своими преимуществами, победоносная армия внезапно оставила свои позиции и отступила с такой поспешностью, что казалось, будто роли переменились и войска прусского короля вместо испытанного кровавого поражения одержали еще раз победу. Громкие негодующие клики раздались в стане противников Фридриха. Очевидно, Апраксин изменил. Но зачем? почему? Все знали его за лучшего друга Бестужева. Узналось также, что великая княгиня писала ему несколько раз через посредство и по просьбе канцлера. Этого было достаточно. Без сомнения, фельдмаршал привел в исполнение план, придуманный старыми или новыми друзьями Пруссии и Англии. Бестужев, подкупленный Фридрихом, увлек великую княгиню, склонную следовать его указаниям вследствие ее связей с Вильямсом и Понятовским, и они вдвоем убедили победоносного генерала

пожертвовать своей славой, интересами общего дела и честью своего знамени. В особенности во Франции все были в этом убеждены. Графу Стенвиллю, послу французского короля в Вене, поручено было предложить австрийскому правительству ходатайствовать сообща у Елизаветы об удалении Бестужева. Кауниц, однако, просил времени на размышление и в конце концов отклонил предложение, так как получил из Петербурга известия, обелявшие Екатерину и Бестужева. Представитель венского двора в Петербурге, Эстергази, не считал их виновными, и один только маркиз Лопиталь – формулировал и поддерживал до конца это обвинение. Во время следствия над канцлером он все еще писал:

«Первый министр нашел средство соблазнить великого князя и великую княгиню настолько, чтобы они убедили генерала Апраксина не действовать так быстро, как то приказывала императрица. Эти интриги велись на глазах императрицы; но так как ее здоровье было тогда очень плохо, она только о нем и думала, между тем как весь двор поддавался желаниям великого князя и в особенности великой княгини, вовлеченной в дело ловкостью Вильямса и английскими деньгами, которые этот посол передавал ей через посредство Бернарди, своего ювелира... признавшегося во всем. Великая княгиня имела неосторожность, чтобы не сказать смелость, написать генералу Апраксину письмо, в котором освобождала его от данной ей клятвы удерживать армию и разрешала ему привести ее в действие. Г. Бестужев показал однажды письмо в оригинале г. Бюкову, уполномоченному императрицы-королевы, приехавшему в Петербург с целью поторопить операции русской армии; тогда тот почел своим долгом доложить об этом графу Воронцову, камергеру Шувалову и графу Эстергази. Это был первый шаг, повлекший за собой падение г. Бестужева».

В настоящее время почти достоверно известно, что если поведение Екатерины и канцлера было довольно двусмысленно в этом деле, они оба все же были ни при чем в отступлении армии, находившейся под командой фельдмаршала Апраксина. Екатерина сама постаралась обелить себя и своего предполагаемого сообщника от всяких подозрений касательно этого дела, и она сделала это в такую эпоху, когда признание не было бы для нее слишком тяжело. Движения, предписанные русской армии после победы под Гросс-Егерсдорфом, исходили от трех военных советов, собравшихся 27 августа и 13 и 28 сентября. Генерал Фермор, преемник Апраксина, принимал участие в этих советах и стоял за отступление. Армия умирала с голоду, и Апраксин предвидел, что иначе и быть не могло. Сторонники союза с Австрией требовали движения вперед, не подумав о снабжении армии продовольствием. Лица, окружавшие Елизавету, также кричали: «В Берлин! в Берлин!» Таким образом, фельдмаршалом пожертвовали в угоду австро-французской партии. Что же касается Бестужева, падение его было решено давно, и опала Апраксина послужила лишь поводом к его ускорению. Враги канцлера проводили о проекте, составленном канцлером о привлечении Екатерины к участию в управлении империей. Они внушили Елизавете, что в бумагах Бестужева найдутся документы, касающиеся безопасности ее короны. Это склонило ее на окончательное решение.

Можно себе представить ужас Екатерины, когда она узнала о происшедшем.

Не объявят ли ее сообщницей павшего министра, находящегося лицом к лицу с обвинением в государственной измене? Ее письма к Апраксину ничего не значили. Но знаменитый проект, сообщенный ей! Чем грозил он ей? Тюрьмой, может быть, пыткой, а впоследствии страшной опалой? Монастырь? Возвращение в Германию? Кто знает, может быть, даже Сибирь? Дрожь пробежала по ее телу. Вот, значит, чем кончаются ее мечты и надежды!

Однако она быстро взяла себя в руки. В эту трагическую минуту мы видим ее взлетевшей одним великолепным, смелым прыжком на высоту своей будущей судьбы, мужественной и решительной, спокойной и находчивой, такую, словом, какую покажет ее близкое будущее, когда, подчинив себе судьбу и завоевав верховную власть, она сумела выкроить себе из окровавленной одежды Петра III самую великолепную императорскую мантию, какую

когда-либо носила женщина. Ее воспитание кончено; она вполне владеет своими природными и приобретенными дарованиями, одною из самых чудесных физических и умственных организаций, подготовленную к борьбе, к управлению делами и людьми. Она ни одной минуты не колеблется и мужественно встречает опасность лицом к лицу.

На следующий день после ареста канцлера при дворе дается бал по случаю помолвки Льва Нарышкина. Екатерина появляется на балу, она улыбается и непринужденно весела. Следствие по готовившемуся страшному процессу поручено трем высоким чинам империи: графу Шувалову, графу Бутурлину и князю Трубецкому. Екатерина подходит к последнему:

– Что значат эти милые слухи, дошедшие до меня? – весело спрашивает она его. – Нашли ли вы больше преступлений, чем преступников, или больше преступников, чем преступлений?

Изумленный такой самоуверенностью, Трубецкой бормочет что-то и рассыпается в извинениях. Его коллеги и он исполнили лишь свой долг. Они допросили предполагаемых преступников, но преступлений еще не нашли. Немного успокоенная, Екатерина собирает дополнительные сведения.

– Бестужев арестован, – просто отвечает Бутурлин, – но мы не знаем еще за что.

Итак, ничего еще не раскрыто, и в результате Екатерина, расспрашивая двух «инквизиторов», выбранных Елизаветой, и вслушиваясь в их ответы, сделала открытие; она в их смущенных позах, в их глазах, избегающих ее взгляда, прочла страх! Да, страх, внушаемый ею уже, страх перед той будущностью, которую, по всей вероятности, угадывают в ее глазах. Несколько часов спустя она дышит еще свободнее: голштинскому министру Штампке удастся передать ей записку от Бестужева:

«Не беспокойтесь насчет того, что знаете; я успел все сжечь».

Старая лиса не попала в ловушку. Следовательно, Екатерина может смело идти вперед. Прошло то время, когда согласно совету одной из статс-дам, мадам Крузе, она решила отвечать на все упреки императрицы словами: «Виновата, матушка», что производило, по видимому, прекрасное действие. Маркиз Лопиталь, с которым она советуется, вероятно, чтобы ввести его в заблуждение насчет своих намерений, тщетно увещевает ее чистосердечно сознаться во всем императрице. Ей это и в голову не приходит! Она при посредстве Штампке, Понятовского, своего камердинера Шкурина завязывает и поддерживает деятельную переписку с Бестужевым и другими узниками, замешанными в дело: с ювелиром Бернарди, учителями русского языка Адауровым и Елагиным, другом Понятовского. Маленький егерь, оставленный бывшему канцлеру, кладет записки в кучу кирпичей, превращенную в почтовый ящик, служащий, впрочем, для двойной цели, так как любовная переписка с Понятовским ведется тем же путем. Понятовский назначает ей как-то свидание в опере, Екатерина обещает ехать во что бы то ни стало. Ей, однако, трудно сдержать данное слово, так как в последнюю минуту великий князь противится ее выезду; у него имеются другие планы на вечер, и он не желает, чтобы великая княгиня расстраивала их, увозя своих фрейлин, в особенности фрейлину Воронцову. Он даже отменяет приказания великой княгини и запрещает запрягать лошадей. Екатерина подхватывает мяч на лету: она поедет в театр, пойдет, если понадобится, пешком; но прежде она напишет императрице, расскажет ей, какому дурному обращению она подвергается со стороны великого князя, и попросит разрешения вернуться к своим родителям в Германию. Само собой разумеется, что она более всего страшится насильственного и постыдного возвращения в родную страну, к ограниченному горизонту и стесненности, чтобы не сказать – нищете, семейного очага. Куда она, впрочем, вернется? Отца ее больше нет. Она в 1747 г. оплакивала его смерть. Ей даже помещали оплакивать ее долго. Через неделю ей приказали осушить слезы, объявив, что этикет не позволяет ей носить траур, так как покойный не был лицом коронованным. Что же касается матери, ей самой пришлось покинуть Германию, вследствие известного инцидента, повлек-

шего за собой оккупацию Цербстского герцогства Фридрихом. В августе 1757 г. аббат Берни вздумал послать в Цербст специально уполномоченного маркиза Френя «с целью внушить великой княгине через посредство принцессы Цербстской надлежащие чувства».

Фридрих, узнав о присутствии в его соседстве французского офицера, приказал отряду гусар его взять. Френь, застигнутый во время сна, мужественно защищался. Он забаррикадировался в своей комнате, pistolетным выстрелом разнес голову первому пруссаку, переступившему ее порог, поднял на ноги весь город, был освобожден и отведен в замок. Фридрих, не желавший признать себя побежденным, послал целый корпус с пушками, чтобы осадить мятежного француза. Френь наконец сдался. Герцогство и город Цербст уплатили военные издержки. Владетельный герцог, брат Екатерины, укрылся в Гамбурге. Мать ее искала убежища в Париже, где была довольно неприязненно принята, несмотря на то, что пострадала из-за Франции. Там опасались ее пристрастия к интригам и беспокойного характера. Все же французское правительство было радо иметь нечто вроде «залога» и могущественное средство воздействия на великую княгиню. Но именно это неожиданное происшествие напугало петербургский двор. По просьбе вице-канцлера Воронцова, Лопиталю пришлось просить удаления принцессы; ему ответили, что ее не приглашали, что, если бы раньше предупредили, ее бы даже задержали в Брюсселе, но что теперь нельзя ее удалить, не оскорбляя великой княгини и не нанося вреда даже самим себе. «Франция, – благородно писал де Берни, – служила всегда убежищем несчастных принцев. Принцесса Цербстская, пострадавшая отчасти из-за своей привязанности к королю, имеет более прав на гостеприимство, чем кто-либо другой».

Куда же отправилась бы Екатерина, если бы ей пришлось покинуть Россию? В Париж? Елизавета никогда не согласилась бы увеличить список несчастных принцев, нашедших приют во Франции, добавив к ним еще русскую великую княгиню! Довольно было и того, что мать великой княгини была в их числе. Но чем невероятнее это кажется Екатерине, тем она смелее на этом настаивает. Елизавета, со своей стороны, не спешит с ответом на это затруднительное предложение. Она велит передать великой княгине, что объяснится с ней лично. Проходят дни и недели. Следствие по делу Бестужева и его предполагаемых сообщников продолжается и, если верить маркизу Лопиталю, лихорадочно следящему за ним, каждый день раскрываются новые доказательства его виновности, хотя все же никак не удается составить достаточно обоснованный обвинительный акт, по которому можно было бы предать его суду.

Наконец Екатерина решается на смелый шаг. Однажды ночью будят духовника императрицы и объявляют ему, что великая княгиня очень плоха и желает исповедаться. Он к ней идет, и Екатерина убеждает его в необходимости предупредить императрицу. Елизавета пугается и соглашается сделать то, о чем ее просят: даровать аудиенцию Екатерине! Мы знаем об этом свидании лишь то, что сообщает нам сама Екатерина. Через сорок лет, может быть, ее передача и не была совершенно точной; это замечание приложимо ко всему автобиографическому труду, из которого мы до сих пор черпали столько сведений, и к которому нам, к сожалению, не придется больше прибегать, так как «Записки» прерываются именно на этом моменте. Однако в этом повествовании нет и следа деланности или заботы о произведении эффекта; повествование непринужденно и естественно возносится до самого интенсивного драматического выражения. Место свидания – уборная императрицы, большая комната, погруженная в полумрак; свидание происходит вечером. На заднем плане подобно алтарю возвышается мраморный туалетный стол, за которым Елизавета проводит долгие часы в поисках крылатого призрака своей исчезнувшей красоты; он блесит в полутьме своими тяжелыми кувшинами и золотыми тазами, бросающими красные отливы. В одном из тазов Екатерина, привлеченная светлыми пятнами, видит бумаги, брошенные туда, вероятно, рукой императрицы. Она догадывается, что это обличительные документы: ее письма

к Апраксину и Бестужеву. За ширмой слышатся глухие голоса; она их узнает: это ее муж и Александр Шувалов.

Наконец появляется Елизавета, надменная, с жестким взглядом и короткой речью. Екатерина бросается к ее ногам; не дав ей времени начать свой допрос, она предупреждает ее и возобновляет просьбу, изложенную ею письменно: отпустить ее к матери. В голосе ее дрожат слезы; то скорбная жалоба ребенка, обиженного чужими людьми и желающего вернуться к своим. Елизавета изумлена и слегка смущена.

– Как я объясню твою отправку? – спросила она.

– Сказав, что я имела несчастье не понравиться вашему величеству.

– Но как ты будешь жить?

– Как и жила до того, как ваше величество изволили приблизить меня к себе.

– Но твоя мать принуждена была бежать из своего дома. Она, как ты знаешь, теперь в Париже.

– Она действительно навлекла на себя гнев короля прусского своею любовью к России.

Реплика была победоносная. Каждое слово достигает цели. Смущение императрицы, видимо, возрастает.

Однако она пробует произвести и со своей стороны нападение: она упрекает молодую женщину в чрезмерной гордости. Однажды в летнем дворце императрица принуждена была спросить ее, не болит ли у нее шея, так как ей, очевидно, трудно было склонить голову перед ней. Разговор таким образом сводится к вульгарной ссоре на почве уязвленного самолюбия. Екатерина становится тише воды и ниже травы. Она не помнит вовсе того случая, о котором изволят говорить ее величество. Она, вероятно, по глупости не поняла слов, сказанных ей тогда императрицей. Но глаза ее – глаза хищного зверя, о которых говорит Воронцов, – блестят, глядя на императрицу. Дабы избежать этого взгляда, перед которым задрожали Трубецкой и Бутурлин, Елизавета отходит к другому концу комнаты и говорит с великим князем. Екатерина прислушивается. Петр пользуется этим случаем, чтобы обвинить жену, которую считает заранее приговоренной. Он в несдержанных выражениях жалуется на ее злобу и упрямство. Екатерина вскакивает.

– Да, – восклицает она звенящим голосом, – я зла; я зла и буду всегда злой с теми, кто несправедливо со мною обращается! Да, я с вами упряма с тех пор, как убедилась, что ничего не выигрываешь, уступая вашим прихотям!..

– Вы видите, – обращается к императрице великий князь, думая, что торжествует. Но императрица молчит. Она еще раз встретила взглядом с Екатериной, услышала звук ее голоса, и ей тоже стало страшно. Однако она пытается еще запугать молодую женщину. Она просит ее сознаться в преступных сношениях с Бестужевым и Апраксиным и в том, что она писала последнему другие письма, кроме тех, что находятся в деле. В ответ на отрицательный ответ Екатерины она грозит подвергнуть пытке бывшего канцлера. «Как вашему величеству будет угодно», отвечает Екатерина. Елизавета побеждена; она меняет тон на более дружественный и знаком дает понять Екатерине, что не может говорить с ней откровенно в присутствии великого князя и Шувалова. Екатерина на лету подхватывает это указание и, понизив голос, неясно бормочет, что и она бы хотела открыть императрице свою душу и мысли. Елизавета умиляется и проливает слезы. Екатерина следует ее примеру. Петр и Шувалов поражены. Дабы прекратить эту сцену, императрица вспоминает, что уже поздно. Действительно, уже три часа утра. Екатерина удаляется, но не успела она еще лечь в постель, как от имени императрицы является Александр Шувалов, просит ее успокоиться и объявляет ей о новом и скором свидании с ее величеством. Через несколько дней к ней приходит сам вице-канцлер с просьбой не думать более о возвращении в Германию. Наконец 23 мая 1758 г. обе женщины встречаются вновь и расстаются, по-видимому, в восторге друг от

друга. Екатерина опять плачет, но из ее глаз текут слезы радости «при воспоминании о всех благодеяниях, которыми ее осыпала императрица». Ее победа полная и решительная.

Дело Бестужева тянется еще почти целый год; но всем ясно, что главная пружина интриги против бывшего канцлера больше не действует. В октябре 1758 г. маркиз Лопиталь опасается даже снятия опалы со страшного соперника. В апреле следующего года Елизавета решает покончить с этим делом. Посредством манифеста она объявляет о преступлении коварного министра, желавшего внушить императрице недоверие к ее возлюбленному племяннику и наследнику великому князю и возлюбленной племяннице великой княгине. Однако этот великий преступник, злоумышления которого не удалось, избавляется от заслуженной им смертной казни. Даже имущество его не конфискуется. Его просто ссылают в его имение Горетово. Остальные обвиняемые (фельдмаршал Апраксин умер от удара во время процесса) пользуются таким же снисхождением.

«Под влиянием страха, преобладающего в сердце этого народа, находящегося под игом деспотизма, – пишет в то же время маркиз Лопиталь, – все вельможи и все дамы, близкие к императрице, поддерживали великую княгиню и интриговали в ее пользу. Во главе этой партии стали фаворит Шувалов и его двоюродный брат, Петр Шувалов. Одни только граф Воронцов и граф Олсуфьев остались верными государыне. Все остальные, напуганные, трусливые и коварные, прикрывая свое поведение уважением к великой княгине, повинувшись ее желанию, сообщали ей все, что они знали о чувствах и расположении ее императорского величества».

Что касается Петра, решившегося на смелый шаг, то он быстро спустил флаг и сдался. В июне 1758 г. Екатерина властно потребовала удаления его любимца Брокдорфа, который несколько месяцев тому назад говорил направо и налево, что следовало «раздавить змею». «Змеей» была Екатерина. В конце следующего года уже не великая княгиня, а великий князь просил разрешения вернуться в Германию.

«Великий князь, – писал Лопиталь, – был нездоров несколько дней. Я узнал, что он просил через обер-камергера, которого нарочно для этого призвал к себе, ее императорское величество разрешить ему удалиться в Голштинию. Ее императорское величество находит, что этот бестактный поступок исходит из больного мозга, и приписывает это неудовольствие тому, что императрица взяла музыкантов и певцов, нанятых великим князем. Великая княгиня появлялась при дворе во вторник; императрица приняла ее очень милостиво и была с ней любезнее обыкновенного».

Как бы ни было велико легкомыслие Петра, его неудовольствие имело, вероятно, более серьезные причины. Однако он все же остался в России, чтобы изжить свою мрачную судьбу, а теперь судьба его была уже начертана. Если б он был проницательнее, Петр мог бы ее прочесть также и в глазах Екатерины.

Глава 2

Борьба за престол

I

После отъезда Вильямса и Понятовского и падения Бестужева Екатерина была разлучена со всеми теми, кого случай и судьба свели с нею со времени ее приезда в Россию. Захар Чернышев находился при действующей армии. Сергей Салтыков, назначенный резидентом в Гамбурге, жил там как в изгнании. В апреле 1759 г. Екатерина потеряла дочь. В следующем году ее мать скончалась в Париже. Про эту смерть можно сказать, что она случилась вовремя. Принцесса Цербстская уже два года вела в Париже жизнь, не делавшую чести ее

дочери и доставлявшую ей только много хлопот. На берегах Сены и даже дальше уже поднимались двусмысленные разговоры о поведении графини Ольденбургской. Под этим именем принцесса приехала во Францию в сопровождении одного французского дворянина Пуйи, с которым она познакомилась в Гамбурге у его родственника Шампо, резидента короля в этом городе. Принцесса вместе с Пуйи совершила путешествие по Германии и Голландии и, несомненно, очень сблизилась с ним во время этих странствований. В Париже им пришлось расстаться: Пуйи поехал к родным в деревню. Графиня Ольденбургская, чтобы утешиться, писала ему почти ежедневно. Но она искала и других утешений. Письма ее – часть их была напечатана – положительно прелестны. Их издатель, Бильбасов, находит, что скорее они служили литературным образцом для Екатерины, а не письма г-жи де Севинье. Возможно, он прав.

«Помните, что я вам писала еще вчера. А это письмо пусть будет вам запасом на завтра или на послезавтра! Итак, незаметно для себя я исполню ваше желание, и в конце концов выйдет так, что время от времени я буду писать вам каждый день... Вчера было первое представление новой оперы: „Празднества Евтерпы“. Я сидела в парадной ложе короля с г-жей Ловендаль. Сколько взглядов было обращено на меня! И какие взгляды! Какое любопытство! Но они были снисходительны, и меня не освистали. Герцогиня Орлеанская появилась в грандиозных фижмах, en grandissime paniergrande loge (sic!). Она производит впечатление довольно глуповатой. Накануне она была очень больна, почти при смерти. Опера ужасна: в ней нет никакого смысла; такой оперы еще не бывало. Мне понравились только Арно, Желэн, Вестэн и Лионе. Хотите либретто? Я вам пришлю его».

Это написано 9 августа 1758 г. и очень напоминает слог Екатерины в ее *посланиях*, адресованных впоследствии Гримму. А вот еще описание Шуази, сделанное графиней Ольденбургской в том же стиле; оно любопытно:

«Что это за прелестный уголок для короля Франции! И какой хорошенький! Сколько в нем вкуса! О какой прекрасной душе свидетельствуют также нега и тишина этого места и всего этого дворца! Мне кажется, что сердце самого монарха отпечатлелось тут. Людовик XIV все золотил, нагромождал слишком много украшений одно на другое. А здесь все изящно, хорошо, но не бьет в глаза. Это дом богатого частного лица. Здесь все живет. Все умеренно. Это волшебное место, созданное Грациями, где царствует доброта, а тщеславие побеждается гуманностью. Одним словом, это сам Людовик XV».

Что касается содержания корреспонденции графини Ольденбургской, то оно также напоминает эпистолярные сношения Екатерины с ее «*souffre douleur*». Это то же странное смешение самых разнородных сюжетов. Графиня Ольденбургская рассказывает своему другу историю России попеременно с описанием своих собственных злоключений. А их много! Инкогнито, под которым она скрывается, не мешает ей желать, чтобы ее дом был поставлен на придворную ногу. У нее есть дворцовый комендант, которого зовут маркизом Сен-Симоном, есть шталмейстер, маркиз Фолэн, камергер, фрейлины и т. д. Она выбирает себе для жительства роскошный дом, принадлежащий Шону. Она хочет иметь ложу в опере. Все это стоит денег. А между тем доходы герцогства Цербстского конфискованы Фридрихом. Остается Россия, на которую принцесса и спешит перевести все свои векселя, настаивая, чтобы Екатерина распорядилась уплатить по ним. Но векселя возвращаются в Париж опротестованными. Елизавета не хочет о них и слышать. Она не удостоивает даже ответом умоляющие письма кузины. Екатерина на письма отвечает, но ответить также и на просьбы о деньгах не имеет власти. Затем принцесса страдает и от преследований – в чем именно они состоят, она не говорит в своих письмах к Пуйи, – но они так мучат ее, что, по ее словам, расстраивают ее здоровье. «Ей от этого не легче, а другие только выигрывают», уверяет она. Будем верить ей на слово. К концу 1759 года она уже вся в долгах. Екатерина, вместо помощи, посылает ей несколько фунтов чаю и ревеню. Но эти подарки до принцессы не

доходят. Она умирает 16 мая 1760 г. Всю ее переписку опечатавают. Опять новые волнения для Екатерины. Великая княгиня боится за репутацию матери; боится также и впечатления, которое могут вызвать ее собственные письма, если, пересланные в Россию, они попадут не в ее руки, а в чужие. Но любезное вмешательство герцога Шуазёля устраивает все к лучшему. Бумаги принцессы внимательно просматривают, по его приказанию, и все ее любовные записочки и другие компрометирующие документы сжигают. Зато с долгом ее не так легко покончить. Есть минута, когда Екатерине грозит даже, что мебель и драгоценности ее матери будут проданы кредиторами с молотка. Но после небольшого сопротивления Елизавета соглашается наконец заплатить те 400 000 или 500 000 франков, которые поглотила жизнь в доме Шона, ложа в опере и другие парижские развлечения графини Ольденбургской.

Так порвалась последняя связь между дочерью принцессы Цербстской и ее родиной. Но теперь Екатерине уже нечего было бояться одиночества в России. Вильямс был замещен Кейтом. Этот последний старался, положим, заслужить главным образом милость великого князя. В противоположность своему предшественнику, он находил Петра вполне подходящим для роли, которую заставлял его разыгрывать: роли простого доносчика и шпиона. Петр действительно выказал здесь большие дарования. Его извращенный ум находил какое-то нездоровое наслаждение в этом низменном занятии. И вскоре услуги, которые он начал оказывать таким образом Англии и Пруссии и которым Фридрих посвящает благодарное воспоминание в своей «Истории Семилетней войны», стали известны всему Петербургу. Но все это не мешало Кейту ухаживать, между прочим, и за великой княгиней и ссужать ее деньгами, как это делал Вильямс.

Понятовский, в свою очередь, нашел себе заместителя. Весной 1759 года в Петербург прибыл граф Шверин, флигель-адъютант прусского короля, взятый русскими в плен в битве при Цорндорфе (25 августа 1758 г.). Его встретили как знатного иностранца, приехавшего посетить столицу. Для простой формальности к нему были приставлены, в виде стражи, два офицера. Один из них особенно отличился при Цорндорфе. Он был три раза ранен, но не ушел с поля сражения. У него была фаталистическая храбрость восточных народов. Он верил в свою судьбу. И был прав, веря в нее: это был Григорий Орлов. Орловых было всего пять братьев в гвардейских полках. Высокий, как и его брат Алексей, одаренный такой же геркулесовской силой, Григорий выделялся красотой своего лица с правильными и нежными чертами. Он был красивее Понятовского, красивее даже Сергея Салтыкова: гигант с головой прекрасной, как у херувима. Но ангельского, кроме красоты, в нем не было ничего. Неумный и совершенно необразованный, он вел такой же образ жизни, что и все его товарищи по полку, но доводил его до крайности, проводя все свое время в игре, попойках и ухаживаниях за первой встречной. Всегда готовый на ссору и на то, чтобы снести голову своему обидчику, — он не боялся пожертвовать жизнью, когда у него не было для расплаты другой монеты; смело ставил на карту все свое состояние, тем более что терять ему было нечего; всегда казался подвыпившим, даже в минуты, когда случайно был трезв; горел неутолимой жаждой ко всевозможным наслаждениям; приключений искал со страстью и жил в каком-то непрерывном безумии: таков был человек, входивший в жизнь будущей императрицы. Объединяя для нее в своем лице интересы политики и любви, он долгое время занимал в ее уме и сердце если не первое, то наверное второе место. Первое же она отдавала честолюбию. В характере Григория Орлова, который мы обрисовали здесь, было мало черт, подходящих для героя романа; но в нем не было ничего, что могло бы оттолкнуть Екатерину. Она сама всю жизнь любила приключения и потому смотрела снисходительно на искателей их. «Безудержная смелость», которую она открыла в себе однажды в разговоре с маркизом Лопиталем, вполне подходила к неустрашимости Григория Орлова. У него было одно ценное качество, более прекрасное, чем красота, и более могущественное, чем ум, которое долгое время казалось самым привлекательным из всех в глазах Екатерины; оно как бы подчи-

няло ее своей чарующей власти, прельстило ее впоследствии и в Потемкине, так что она на длинный ряд лет привязалась к этому некрасивому, кривому и косоглазому циклопу, – Орлов был полон молодечества и удали.

Кенигсберг, где стояли русские войска, надолго сохранил воспоминание о его пребывании там и о всевозможных похождениях этого человека, умевшего блестяще прожить жизнь. В Петербурге он не изменил своих привычек. В 1760 году ему дали завидное место адъютанта при генерал-фельдцейхмейстере. Этот пост занимал граф П. И. Шувалов, двоюродный брат всемогущего фаворита Елизаветы. Благодаря своему новому положению, Орлов очутился на глазах у всех. У Шувалова была любовница, княгиня Елена Куракина, красота которой восхищала Петербург. Орлов сделался сейчас же соперником своего начальника и победил его. Этим он обратил на себя всеобщее внимание, в том числе и Екатерины. Но он чуть было не расплатился дорого за свою победу. Шувалов не был человеком, способным простить подобную обиду. Однако вера Орлова в свою счастливую звезду и на этот раз не обманула его: Шувалов скончался, не успев отомстить. Екатерина же продолжала интересоваться молодым человеком, рисковавшим жизнью за улыбку прекрасной княгини. При этом Орлов занимал случайно дом, расположенный напротив Зимнего дворца. И это тоже способствовало его сближению с Екатериной.

Кроме того, этот отважный и обаятельный офицер не мог не пользоваться большим влиянием в той среде, где жил. А эта среда в глазах русской великой княгини, решившейся «идти самостоятельным путем», должна была иметь первенствующее значение. В своих «Записках» Екатерина несколько раз упоминает о стремлении, появившемся у нее будто бы еще очень рано и никогда не покидавшем ее, снискать любовь элемента, который она признавала своей истинной и единственной опорой в России: она называет этот элемент русским «обществом». Она постоянно тревожится о том, что это «общество» скажет или подумает о ней. Она старается расположить его в свою пользу, хочет, чтобы оно привыкло в случае надобности рассчитывать на нее и чтобы сама она, в свою очередь, тоже могла на него рассчитывать. Но это странная манера выражаться, которая может даже вызвать сомнения в подлинности документа, где мы читаем эти признания Екатерины. В те года, когда она писала свои «Записки», она не только не считалась с этим элементом, будто бы так высоко ценившимся ею за тридцать лет до того, но должна была убедиться, что его не существовало в России, по крайней мере в том значении и в той роли, которые она ему приписывала. Где бы она стала искать «общество», т. е. социальное коллективное целое, одаренное умом и волей и способное рассуждать и действовать сообща? Его не было вовсе. Вверху стояла группа чиновников и придворных, одинаково раблепных по всей иерархической лестнице «чина» и различавшихся только в степенях человеческой низости; они дрожали от одного взгляда и простым мановением руки могли быть низвергнуты в бездну; внизу – народ, т. е. громадная масса мускульных сил, которые выносили на себе всю тяготу барщины и за которыми душа признавалась лишь как единица меры при подсчете инвентарей; а между ними не было никого, если не считать духовенство, силу значительную, но замкнутую в себе, мало поддающуюся влиянию, способную воздействовать скорее сверху вниз, нежели снизу вверх, и совершенно непригодную в смысле орудия для достижения какой-либо политической цели. Не эти люди оказали поддержку Елизавете и возвели ее на престол. Но был же ведь все-таки в России кто-то, кто помог ей тогда занять силою трон! Этот кто-то мог, следовательно, проявлять свою власть и деятельность независимо от тех трех сословий, не имевших никакого значения! И то была армия.

Екатерина полюбила Григория Орлова за его красоту, смелость, за его громадный рост, за его молодецкую удаль и безумные выходки. Но она полюбила его также и за те четыре гвардейских полка, которые он и его братья, по-видимому, крепко держали в своих железных руках. Он же, в свою очередь, не оставался слишком долго у ног княгини Куракиной. Это

был человек, не боявшийся метить и выше, в особенности если ему с этой вышины посылали ободряющие улыбки. Но зато он и не умел также делать тайну из своих увлечений. Он афишировал княгиню Куракину, не заботясь о том, что скажет генерал-фельдцейхмейстер. Он стал афишировать теперь великую княгиню с тою же непринужденностью. Но Петр ничего не сказал: он был слишком занят другими делами; Елизавета тоже ничего не сказала: она умирала. А Екатерина не мешала Орлову: она не имела ничего против того, что уже не в одной казарме стали соединять в разговорах ее имя с именем красавца Орлова, которого офицеры обожали и за которого солдаты готовы были броситься в огонь и воду. Она позже, в августе 1762 года, писала Понятовскому:

«Остен вспоминает, как Орлов всюду следовал за мною и делал тысячу безумств; его страсть ко мне была публична».

Ей нравилось преследование Орлова. Этот буйный и шумливый в проявлениях чувства солдат должен был казаться ей, положим, несколько грубоватым после Понятовского. Но недаром она обрусела. Любовь к таким контрастам и даже потребность в них лежали в характере русского народа того времени, только что приобщившегося скороспелой цивилизации; а этот народ стал ее народом, и она понемногу так слилась с ним, что его душа, даже в самых своих тайниках, сделалась ее душой. Прожив несколько месяцев среди самой изысканной и чарующей роскоши, Потемкин садился, бывало, в кибитку и делал по три тысячи верст в один переезд, питаясь в дороге сырым луком. Екатерина не разъезжала в кибитках, но зато в любви тоже охотно переходила от одной крайности к другой. После Потемкина, этого дикаря, она пленилась Мамоновым, общество которого сам принц де Линь находил для себя приятным. И теперь страсть грубого, неотесанного русского поручика послужила ей как бы отдыхом от утонченного ухаживания изнеженного польского дипломата.

Впрочем, Вольтер, Монтескье и французская литература не пострадали от этого. Как раз в это же время Екатерина сошлась со столь знаменитой впоследствии и доставившей ей немало хлопот княгиней Дашковой. Из трех дочерей графа Романа Воронцова, брата вице-канцлера, княгиня Дашкова была младшей. Старшая, Мария, вышла замуж за графа Бутурлина; вторая, Елизавета, мечтала по временам выйти замуж за великого князя. Это была фаворитка. Императрица назвала ее как-то в насмешку маркизой Помпадур, и за ней и при дворе так и осталось это прозвание. Третьей, Екатерине, было пятнадцать лет, когда великая княгиня встретила ее впервые в 1758 году в доме ее дяди, графа Михаила Воронцова. Молодая Воронцова не знала тогда ни одного русского слова, говорила исключительно по-французски и прочла на этом языке все книги, которые только могла достать себе в Петербурге. Она чрезвычайно понравилась Екатерине. Став вскоре женой князя Дашкова, молодая женщина последовала за ним в Москву, и Екатерина на два года потеряла ее из виду. Но в 1761 году княгиня Дашкова вернулась в Петербург и заняла на лето дачу, принадлежавшую ее дяде Воронцову и расположенную на полпути между Петергофом, где жила императрица, и Ораниенбаумом, местом обычного летнего пребывания великого князя и великой княгини. Каждое воскресенье Екатерина ездила в Петергоф повидаться с сыном, которого Елизавета по-прежнему не отпускала от себя. Возвращаясь домой, Екатерина часто заезжала на дачу Воронцовых, увозила с собой свою молодую подругу и проводила с ней остальную часть дня. Они говорили о философии, истории и литературе; касались самых важных научных и социальных вопросов. Может быть, они не избегали и более веселых тем разговора, но вообще эти две женщины, из которых одной было едва тридцать лет, а другой еще не было двадцати, редко смеялись вдвоем. Великая княгиня переживала в то время слишком тревожные дни, а у княгини Дашковой всегда был угрюмый характер. Впоследствии Екатерина стала находить ее общество менее приятным, – и в конце концов оно стало даже вовсе ненавистно ей. Но в то время будущая Семирамида была довольна, найдя человека, с которым могла говорить о предметах, совершенно неинтересных и недоступных красавцу Орлову.

Екатерину прельщало и то, что она в русской женщине с чисто русским умом нашла отблеск, правда, бледный, той западной культуры, которую она, в смутных мечтаниях о будущем, решила насадить в своей громадной и варварской стране. И эта маленькая семнадцатилетняя особа, успевшая уже прочесть Вольтера, была для Екатерины ценной находкой, ее первой победой в деле пропаганды, которым она задалась. Затем, княгиня Дашкова была русской аристократкой и по происхождению и по браку принадлежала к двум влиятельным семействам. Это тоже имело свою цену. Наконец, под лоском образования, напоминавшего собственное образование Екатерины, такого же разнородного и неполного, среди случайных и отрывочных идей и знаний, почерпнутых Дашковой из быстро проглоченных книг, Екатерина открыла в своей подруге страстную и пылкую душу, всегда готовую на риск. Демон безумной отваги, живший в громадном, атлетическом теле ее нового любовника и избранника, был не чужд и этой девочке, хрупкой на вид. И Екатерина пошла рука об руку с нею до того дня, когда решилась судьба одной из них.

Но ни приобретение Орлова, ни новой подруги не заменили Екатерине потерю Бестужева. Этот опытный государственный деятель и мудрый советник требовал себе заместителя. И Екатерина нашла его в лице Панина. Панин был политическим учеником бывшего канцлера. Десять лет тому назад Бестужев даже намечал его в фавориты Елизавете. Панин был тогда красивым молодым человеком двадцати девяти лет, и царица поглядывала на него далеко не равнодушно. Но Шуваловы, которые считали место фаворита как бы своей неотъемлемой и родовой привилегией, заключили с Воронцовыми союз против Бестужева и взяли над ним верх. По словам одного свидетеля, который должен был быть хорошо осведомленным (Понятовского, в его «Записках»), Панин сделал крупную неловкость: он заснул в дверях ванной императрицы, вместо того чтобы войти туда в удобную минуту. Он был послан в Копенгаген, потом в Стокгольм, где играл довольно важную роль, принимая деятельное участие в борьбе против французского влияния. Но при перемене внешней политики, когда Россия и Франция стали в один лагерь против общих врагов, его пришлось отозвать в 1760 году. Елизавета решила назначить его на пост воспитателя великого князя Павла, остававшийся свободным после отставки Бехтеева. Шуваловы ничего не имели против этого. Единственный имевший значение в их глазах пост был занят теперь, после Александра Шувалова, потом Петра Шувалова, его брата, их двоюродным братом Иваном Шуваловым. Ивану Шувалову было только тридцать лет, и постаревший Панин казался уже неопасным для него.

Человек холодного, методического ума и беспечного ленивого нрава – эта беспечность с годами еще усилилась в нем, – Панин, казалось, был создан для того, чтобы служить противовесом тем восторженным и пылким людям, которыми окружила себя Екатерина. Его политические идеи уже по тому одному сблизили его с великой княгиней, что он не разделял прусских симпатий великого князя. Он оставался «австрийцем», как и Бестужев. Странный характер Петра тоже пугал его, тем более что ему вскоре пришлось лично пострадать от него. Панин много беседовал с Екатериной. А о чем можно было беседовать в то время, как не о событии, казавшемся все более близким и начинавшем, даже на противоположном конце Европы, волновать все умы? Елизавета умирала, и смерть ее не в одном только Петербурге должна была послужить сигналом к политическому перевороту неисчислимой важности. Результаты борьбы, завязавшейся между великими державами, зависели всецело от этой случайности будущего. После взятия Кольберга (в декабре 1761 г.) несколько лишних месяцев, предоставленных совместным действиям русских и австрийских войск, вызвали бы неизбежную и верную гибель Фридриха. Побежденный при Гросс-Егерсдорфе и Кунерсдорфе не создавал себе никаких иллюзий на этот счет. Но в то же время всем было ясно, что – восшествие на престол Петра III положило бы конец союзной кампании, направленной против прусского короля.

Панин тоже задумывался над этой проблемой, и хотя и не решал ее в смысле, вполне согласном с тайными властолюбивыми мечтами Екатерины, но во всяком случае находил нужным защищать ее интересы против враждебных ей замыслов, глухо зарождавшихся у постели умирающей императрицы. Согласно свидетельству, внушающему доверие, Воронцовы хотели не более, не менее, как развести Екатерину с Петром и объявить незаконным рождение маленького Павла. После этого наследник Елизаветы мог бы жениться на фрейлине Воронцовой. К счастью для Екатерины, эти слишком честолюбивые стремления возбудили опасения и соперничество со стороны Шуваловых, которые, ударясь в противоположную крайность, намеревались выслать Петра в Германию и немедленно возвести на престол Павла при регентстве Екатерины. Панин занимал среднее положение между этими двумя враждебными лагерями, высказываясь за законный порядок вещей; он рассчитывал обеспечить таким образом и Екатерине, и себе возможность благотворно влиять на будущее правление племянника Елизаветы. Екатерина выслушивала его, но ничего не говорила. У нее были собственные планы, и она подолгу беседовала и с Орловыми.

II

Елизавета скончалась 6 января 1762 г., оставив в силе завещание, по которому Петр должен был наследовать ей. Да и имела ли она намерение изменить его в том или другом смысле? Это вопрос темный.

«Всеобщее желание и убеждение, – писал барон Бретейль в октябре 1760 года, – что она возведет на престол маленького великого князя, которого, по-видимому, страстно любит». Месяц спустя Бретейль рассказывал следующее:

«Однажды, когда великий князь уехал на день в деревню на охоту, императрица неожиданно приказала, чтоб в ее театре дали русскую пьесу и, против обыкновения, не пожелала пригласить ни иностранных послов, ни придворных, которые всегда присутствуют на таких спектаклях; вследствие этого императрица явилась в театр только с небольшим числом лиц ближайшей свиты. Молодой великий князь был вместе с ней, а великая княгиня, единственная из всех получившая приглашение, тоже пришла в свою очередь. Как только началось представление, императрица стала жаловаться на то, что в зале мало зрителей, и велела раскрыть двери для гвардии. Театр сейчас же наполнился солдатами. Тогда, по свидетельству всех присутствовавших, императрица взяла на колени маленького великого князя, чрезвычайно ласкала его и, обращаясь к некоторым из тех старых гренадер, которым она обязана своим величием, как бы представила им ребенка, говорила им, каким он обещает быть добрым и милостивым, и с удовольствием выслушивала в ответ их солдатские комплименты. Эта сцена кокетничанья продолжалась почти весь спектакль, и великая княгиня имела все время очень довольный вид».

Но если верить свидетельству, о котором мы говорили выше, Панин, делая вид, что становится на сторону Шуваловых, в последнюю минуту обманул их: он ввел к императрице монаха, который убедил ее примириться с Петром. Но вернее всего, что Елизавета не могла или не сумела решиться на этот крайний шаг. К концу царствования она, несомненно, ненавидела племянника, но любовь к собственному покою все-таки в ней превозмогла. Поэтому смерть ее, усчитанная всеми еще за несколько лет вперед, легко могла вызвать революцию против этого последнего решения ее колеблющейся и расшатанной развратом воли. Барон Бретейль писал по этому поводу:

«Когда я думаю о ненависти народа к великому князю и заблуждениях этого принца, то мне кажется, что разыграется самая настоящая революция (при смерти императрицы); но когда я вижу малодушие и низость людей, от которых зависит возможность переворота, то

убеждаюсь, что страх и рабская покорность и на этот раз так же спокойно возьмут в них верх, как и при захвате власти самой императрицей».

Так и случилось. Если верить Вильямсу, Екатерина еще за пять лет до того решила, что будет делать после смерти Елизаветы:

«Я иду прямо в комнату моего сына, – будто бы сказала она. – Если встречу Алексея Разумовского, то оставлю его подле маленького Павла; если же нет, то возьму ребенка в свою комнату; в ту же минуту я посылаю доверенного человека дать знать пяти офицерам гвардии, из которых каждый приведет ко мне пятьдесят солдат... В то же время я посылаю за Бестужевым, Апраксиным и Ливеном, а сама иду в комнату умирающей, где заставлю присягнуть командующего гвардией и оставляю его при себе. Если я замечу малейшее движение, то арестую Шуваловых». Она прибавляла, что у нее было уже свидание с гетманом Кириллом Разумовским и что тот отвечал за свой полк и ручался привести к ней сенатора Бутурлина, Трубецкого и самого вице-канцлера Воронцова. Она осмелилась будто бы даже написать Вильямсу: «Иоанн Васильевич (царь) хотел уехать в Англию; но я не намерена просить убежища у английского короля, потому что решила или царствовать, или погибнуть».

Но верить ли в данном случае Вильямсу? По словам аббата Шапп д'Отроша, новая императрица явилась в роковую минуту совершенно в другом свете. Французский историк рисует ее нам бросающейся к ногам своего супруга и выражающей готовность служить ему, «как последняя раба его царства». Екатерина была очень оскорблена, когда узнала впоследствии про этот рассказ, и с необыкновенным жаром старалась опровергнуть его правдивость. Читатель извинит нас, если мы сами не выскажемся окончательно на этот счет.

Но как бы то ни было, Петр совершенно мирно вступил в управление своим государством. Царствование его не замедлило оправдать всеобщие ожидания. За границей России Фридрих вздохнул свободно и по праву мог считать себя спасенным смертью Елизаветы. В самую же ночь своего восшествия на престол Петр разослал гонцов в различные корпуса русской армии с приказом прекратить неприятельские действия. Войска, занимавшие Восточную Пруссию, должны были прекратить наступательное движение; те, что стояли вместе с австрийской армией, – немедленно отделиться от нее. Кроме того, и тем и другим было отдано повеление сейчас же заключить перемирие, если только оно будет предложено прусскими генералами. В то же время император послал к Фридриху камергера Гудовича с собственноручным письмом, свидетельствовавшим о его дружелюбных намерениях. Затем ряд быстро чередовавшихся распоряжений и публичных демонстраций возвестил всем о коренной перемене во внешней политике и симпатиях императора. Даже актеры французского придворного театра были высланы вон, не получив при этом никакого обеспечения! Наконец, декларация, переданная в феврале представителям Франции, Испании и Австрии, показала им, чего они могли ожидать от нового правительства: Петр без всяких церемоний отворачивался от союзников; он объявил им свое намерение заключить с Пруссией мир и советовал им поступить так же. Сцена, о которой барон Бретейль картинно рассказывает в своей депеше, подчеркнула два дня спустя это последнее предупреждение императора. Она разыгралась 25 февраля 1762 г. на ужине у канцлера Воронцова. За столом сидели с десяти часов вечера до двух утра. Петр, говорит Бретейль, «все время буйствовал, пил и молотил вздор». К концу ужина он встал покачиваясь и, повернувшись к генералу Вернеру и графу Гордту, провозгласил тост за прусского короля. «Теперь уже не то, что было за последние года, – прибавил он, – и мы вскоре еще иное увидим!» В то же время он перекидывался «улыбками и намеками» с Кейтом, английским посланником, которого называл «своим дорогим другом». В два часа утра гости перешли в залу. Здесь, вместо ломберного стола для обычной игры в фараон, стоял громадный стол, заваленный трубками и табаком. Чтобы угодить императору, надо было закурить и не выпускать трубку изо рта в течение нескольких часов, попивая в то же время английское пиво и пунш. Однако после довольно продолжи-

тельного совещания с Кейтом его величество предложил сыграть в «samprí». «Это особая игра, – объясняет Бретейль, – вроде „chat qui dort“ или „as qui court“. Во время игры император подозвал к себе барона Поссе, шведского посланника, и пытался убедить его, что декларация, только что опубликованная Швецией, тождественна с русской.

– Она имеет целью только обратить внимание союзников на затруднения, которые они встретят, если будут продолжать войну, – возразил Поссе.

– Надо заключать мир, – ответил на это император. – Что касается меня, то я хочу этого.

Игра, между тем, продолжалась. Барон Бретейль проиграл несколько червонцев принцу Георгу Голштинскому, дяде царя, с которым он в течение своей прежней боевой карьеры встречался когда-то на полях битвы в Германии.

– Ваш старый противник победил вас! – воскликнул сейчас же Петр со смехом. И он продолжал хохотать и повторять без конца свое словцо, как это обыкновенно делают пьяные. Барон Бретейль, несколько озадаченный, выразил уверенность, что ни ему лично, ни Франции никогда больше не придется уже сражаться с принцем. Царь ничего не ответил, но через несколько минут, видя, что граф Альмодовар, представитель Испании, тоже проигрывает, наклонился к французскому посланнику и сказал ему на ухо: «Испания проигрывает». И опять засмеялся. Барон Бретейль едва владел собой. Но, призвав на помощь все свое хладнокровие, он ответил с достоинством: «Не думаю, государь». И стал доказывать императору, что силы Испании и Франции, соединенные вместе, представляют собой внушительную величину. Император произносил, вместо ответа, только насмешливые: «а, а!» Но когда французский дипломат сказал в заключение: «Если ваше величество останетесь верны принципам союза, как вы обещали и должны это сделать, согласно данному вами обязательству, то мы, Испания и Франция, можем быть спокойны», – Петр уже не мог сдержать себя. Он пришел в ярость и грубым голосом прокричал:

– Я вам объявил уже два дня тому назад: я желаю мира.

– И мы также, государь. Но мы хотим, как и ваше величество, чтобы этот мир был почетным и согласным с интересами наших союзников.

– Как знаете. Что до меня, то я желаю мира во что бы то ни стало. А потом поступайте, как хотите. *Finis coronat opus*. Я солдат и не люблю шутить.

С этими словами он повернулся к барону спиной.

– Государь, – сказал тогда значительным тоном барон Бретейль, – я отдам отчет своему королю в том, что вашему величеству было угодно объявить мне.

Это был полный разрыв. Канцлер Воронцов, которому сейчас же донесли о происшедшем, приписал слова Петра состоянию опьянения, в котором государь находился в ту ночь, а также его странному нраву. Воронцов принес барону Бретейлю свои извинения. Но ни в Петербурге, ни в Версале никто не сомневался в истинном смысле слов, произнесенных императором.

«Вы можете представить себе все мое негодование, – писал Бретейлю герцог Шуазель, – когда я узнал о том, что произошло 25 февраля. Признаюсь вам, я не ожидал, что все это будет сказано в таком тоне; Франция не привыкла еще получать приказания из России. Не думаю, чтобы Воронцов мог дать нам какие-нибудь объяснения по этому поводу. Их бесполезно и спрашивать. Мы знаем теперь и так всё, что могли бы узнать, и следующее объяснение, которое мы получим, будет сообщение о союзе, заключенном между Россией и нашими врагами».

И действительно, через два месяца это соглашение было уже совершившимся фактом. 24 апреля Петр подписал мирный договор с Пруссией, включив в него параграф, возвещавший о скором заключении оборонительного и наступательного союза между обеими державами. Он открыто оповестил всех о своем намерении стать вместе с частью русской армии

под начальство Фридриха. Это была его мечта, которую он лелеял давно. Еще в мае 1759 г. маркиз Лопиталь доносил своему правительству:

«Великий князь, разговаривая наедине с графом Шверинем и князем Чарторыйским, стал восхвалять прусского короля и сказал графу Шверину буквально, что надеется иметь славу и честь принять когда-нибудь участие в войне под начальством короля Пруссии».

В то же время Петр, по-видимому, искал ссоры с Данией из-за своих немецких владений. Император всероссийский не считал для себя недостойным мстить за действительные или воображаемые обиды герцога Голштинского. Один русский историк написал даже целую книгу, чтобы объяснить, в чем состояло то, что он называет «политической системой» наследника Елизаветы. По его мнению, все будущее России было бы поставлено на карту, если бы эта система могла быть осуществлена. Но, полагаем мы, этот историк оказывал Петру III и его политике слишком много чести. Думал ли в самом деле Петр о том, чтобы «пожертвовать устьями Западной Двины для того, чтобы утвердиться на устьях Эльбы, и оттолкнуть несколько миллионов своих соотечественников, чтобы ничто не мешало ему завоевать, с помощью Пруссии, несколько сот тысяч полугерманцев и полудатчан, находящихся за сотни верст от России?» Мы склонны думать, что Петр просто хотел выразить свое восхищение перед Фридрихом II и удивить Германию своим мундиром голштинского генерала. Он продолжал играть в солдатики; но – только, имея теперь свободу выбора, уже не довольствовался больше солдатами из крахмала.

Во внутренней политике Петр выказал себя тоже очень смелым реформатором. Указы следовали за указами: о секуляризации владений духовенства, об освобождении дворянства от обязательной службы, об упразднении «тайной канцелярии», т. е. отделения политической полиции. Что значило это поспешное законодательство? Был ли Петр в самом деле либерален? Если верить князю Петру Долгорукому, один из современников Петра III, князь Михаил Щербатов, объяснял по-своему появление указа о дворянстве. Раз вечером, когда Петру хотелось изменить своей любовнице, он позвал к себе статс-секретаря Дмитрия Волкова и обратился к нему с такими словами: «Я сказал Воронцовой, что проработаю с тобою часть ночи над законом чрезвычайной важности. Мне нужен поэтому на завтра указ, о котором говорили бы при дворе и в городе». Волков поклонился, и на следующий день Петр был очень доволен, но и дворянство также. Но возможно, что, поддаваясь отчасти влиянию окружающих и осуществляя не задумываясь идеи, внушаемые ему со стороны, Петр подчинялся в то же время и тому разрушительному инстинкту, который так часто встречается у детей и заставляет их ломать все, что подвернется им под руку, и при беспокойном уме Петра эта страсть разрушения принимала у него особенно угрожающий характер. Ему нравилось одним росчерком пера переворачивать весь строй государства и видеть вокруг себя испуганные этими быстрыми переменами лица. В этом выражались теперь его шалости. А может быть, он хотел подражать Фридриху. Но во всяком случае он искренно забавлялся и надеялся стать, в свою очередь, великим государем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.